

Валькирия

Автор:

Мария Семёнова

Валькирия

Мария Васильевна Семёнова

Воины-даны повидали много морей, сражались во многих битвах, и трудно было удивить их доблестью. Однако даже суровые викинги дивились бесстрашию и воинской сноровке девушки-словенки. Ее прозвали Валькирией, и не было чести выше для девы-воительницы. Она играла со смертью и побеждала в этой игре раз за разом. Кто хранил ее? Скандинавские ли асы, словенские ли боги или духи природных стихий? Какие высшие силы направляли ее руку? Говорили разное, но правда – одно: легендой стало славное имя Валькирии...

Мария Семенова

Валькирия

Баснь первая

Варяги

1

Гой ты, берёзка

мы тебя срубили

сгуби и ты мужа

сломи ему голову

на правую сторону

с правой на левую

Русская песня

Я иду учить тебя смеяться...

Ритуальная песня

Гадюка была красивая: толстая, тугая, до кончика хвоста оплетённая замысловатым узором. И очень проворная к исходу солнечного дня. Прощуршав, она стекла с валуна в густую траву, растворилась в кудрявой зелени папоротника.

- Прости, змёюшка, - сказала я виновато, - не сердись на топотунью невежливую. Вернулась бы. Не мал камешек, не подерёмся.

Она жила здесь всегда, сколько я себя помнила. И всегда я говорила ей одни и те же слова. Но ни разу ещё змея не вернулась.

Я сняла с плеч замызганный берестяной кузов и тронула камень. Серый гранитный лоб отдавал ласковое тепло. Я взобралась и легла, блаженно вытягиваясь. Не очень легко было меня приморить, но с зари на ногах, да по горкам - умаешься. Вражда девке с кузовком, что не ходит он пешком!

Летние облака плыли над вершинами леса, предвечернее солнце понемногу их золотило. Облака сходились и расходились, а меж ними светила бездонная синева. Вот синий разрыв меж двух белых комков стал похож на токующего глухаря: не всякая человеческая рука сумела бы так вывести распущенные

крылья, изогнутую шею птицы, закинутую головку... А вот зыбко возник вдалеке насторожённый, принюхивающийся вепрь... Облака сметанились, их края теряли чёткость и понемногу смыкались. За такими облаками частенько следуют страшные тучи.

Скоро солнышку придёт пора отдыхать, прятаться с глаз за косматый земной горб. Поднимется по стволам густеющая темнота, пробудится в дупле сова, загорится во мраке зелёный глаз лесного кота... Если очень спешить, я, пожалуй, успею домой до темноты. Но домой не хотелось. Совсем не хотелось.

Мягко скакнул большой зверь. Светлошёрстный, ростом в хорошего волка пёс встал надо мной, заглядывая в глаза. Влажный язык трепетал меж длинных клыков. Я лениво подняла руку, запустила пальцы в густой мех на его груди. Он зевнул и свернулся рядом, уткнувшись мне в бок головой. Я положила ладонь ему на загривок. Друг верный.

Все в нашем роду боялись леса. Все, кроме меня. Правда, был ещё дедушка Мал, прозванный за непомерную силу Ломком. Однажды в малиннике поднялся на него свирепый медведь; не растерялся дедушка, ответил объятием на объятие и палкой, сжатой в руках, переломил мохнатую спину, раздавил жирный загривок... Как раз в то лето бабушка родила ему старшенького – моего дядьку. А годик спустя и отец явился на свет. Всем хороши удались сынки, и как не удаться с такими-то именами: Ждан да Желан! Но начали подрастать, и оказалось, что силы великой не воспринял ни один. Покачал дед Ломок седой головой, уселся ждать внуков. Внуки не задержались. Третьим сыном порадовала дядьку жена, когда отец тоже привёл в дом молодую. Взялись ладить ещё избу, а поднялся новый сруб подле родительского – погадали. Увязали хлеб в шубу и подняли наверх вместе с матицей, потом перерубили верёвку и стали смотреть, как упадёт. Вещий хлебушко лёг славно, верхней корочкой кверху – к мальчишкам. Радовался отец, песни пел, выглаживая люльку для сына... но первенца подменили у матери в животе, и родилась я. Дядькины сыновья долго потом не желали считать меня за сестру, дразнили – ведьмин подкидыш... А стояла тогда, сказывали, страшноватая зимняя ночь, и огромные заснеженные ели почти доставали луну, а зелёные звёзды мерцали и прятались – с моря надвигалась метель... вот и назвали меня без большой затеи – Зима. Зимушка да Зимушка, пока бегала по двору в рубашонке. Рубаху сняла, Зимкой начали кликать.

А своих детей заведу, уважать станут, Зимой Желановной величать... да.

Все в нашем роду боялись чащобы. Сто лет уже мстил нам лес и совсем не собирался прощать, а если по совести, так было за что – потом расскажу. Лес мстил жестоко. Ещё жил дедушка, когда проклятие настигло отца. Рухнуло подсечённое дерево, да не туда, куда направляли... Опечалился дед Ломок и подался, постарел.

Меня он крепко любил. Все мужья спрашивают с жены сыновей, а сами баловать дочек рады-радёшеньки. А уж деды внучек – втройне. Умер отец, призвал дедушка дядьку Ждана и настрого велел ему взять мать меньшицею, не оставить меня в сиротстве, а её в горьком вдовстве. Дядьке что! И была у нас теперь полна изба младших сестрёнок. Восемь рук, восемь ног, четыре рта. Ручки, правда, покамест больше любили братья за ложку, а резвы ножки – бегать от дела. Зато рты болтали без устали...

Я раскрыла глаза, отыскала на небе солнце. Нет уж, не побегу домой. Пусть Белёна хозяйничает, ничего, рученьки не отсохнут. А то кашу стряпать она малое дитяtko, а перед парнями вертеться – куда как выросла!

После деда я одна не замыкалась от леса крепким засовом. Было дело: мать в сердцах настегала меня, голенастую шестилетку, за праздность, за то, что весь день ловила в озере раков. Добыча вполне годилась в горшок и, наверное, погода как раз там и оказалась, но мне уже не было дела. Зарёванная, встрёпанная, вылетела я за порог...

Ну и пусть, заходилась во мне кто-то другой. Пусть обманет, уведёт незнамо куда обросший листьями Леший, утопит Болотный Хозяин, порвёт безжалостный зверь!.. Убежала я в тот день далеко. От усталости помалу иссякла обида, я вспомнила, что надо было бояться. Но, диво, никто не спешил рвать меня на клочки, не околдовывал, не пугал. Земляничная поляна осушила детские слёзы, мохнатая ёлка-шатёр поманила спрятаться от дождя... я и проспала под ней до утра, как на полатях. И ночь напролёт кто-то большой стоял подле, гнал всё злое прочь от меня и из моих снов... А утром, как это ни странно, я без забот нашла дорогу домой.

Тогда появилась у матери в волосах седина. Начало дитё непослушное убежать в лес на день, на два, только прикрикни... Учить проку не было, – что рукой, что хворостиной.

Я слезла с камня и подняла на плечи кузов. Помаешься с таким и запомнишь, что год был грибной. Смех сказать, день таскала – всё ничего, а отдохнула, вдвойне тяжелей стал.

Шатёр-ёлка, та самая, ждала невдалеке. Не ошибёшься в избе мимо печи, вот и я выйду к ёлочке хоть ночью, хоть в бешеную метель.

Пёс Молчан на трёх ногах поскакал следом за мной. Одна, покалеченная когда-то, под конец дня у него всегда уставала.

Когда мне пошёл шестнадцатый год, во двор начали заглядывать матери подросших парней. Разговоров многих не разговаривали, больше смотрели, ловка ли я у печи. Мать знай меня наряжала и чуть не под полом прятала пригожих сестрёнок. И всё было бы как у людей, не ощенись тогда дядькина белая сука.

Её детей охотно брали добрые люди, вот и в тот раз пришли из-за дальних лесов весские охотники, кто с чёрной куницей, кто с лисами. Унесли всех щенят, лишь один, слабенький, не глянулся никому. Показался негодным ни к племени, ни на охоту. Дядька и велел его утопить.

Братья были тогда уже все усатые, все женихи. А я кто? Девка плаксивая. Взмолилась не губить зря, попросила отдать никчёмного мне – посмеялись, прочь оттолкнули.

...Вот когда, кажется, в самый первый раз пробудилась дремавшая во мне наследная сила! Ой, как же я бросилась!.. И отстояла-таки, в чьей-то шапке унесла дрожащий мокрый комочек, и он до рассвета сосал мой палец, смоченный молоком, держал на весу переднюю лапку и плакал от обиды и боли... Я ходила с ним по двору, потому что в доме спали сестрёнки. И только потом, когда он устал плакать и затих, убаюканный, у меня на руках, я стала

смекать и сама испугалась, поняв: шутки шутками, а ведь одна ринула здоровенных парней!..

С тех пор минуло время. Молчан давно вырос в большущего и очень гордого зверя и знать не знал никого, кроме меня. А ко мне присватывались каждое лето, но я ни с кем об руку не ходила проведать любимые ягодные поляны, никому не рассказывала про ёлку-шатёр... Нужны были мне все эти женихи и их матери, искавшие в свой дом ещё одни крепкие руки, послушную спину и детородное чрево... Я как будто поняла о себе нечто значительное и скрытое от других, и дело было не в силе, хотя и в ней тоже, конечно.

А шёл мне теперь, страшно вымолвить, двадцать первый год. Подружки жалели меня, говорили, что я кажусь моложе. Да и седых волос у меня было пока немного. Пять не то шесть на всей голове.

Радость-ёлочка стояла чуть на отшибе, касаясь травы тёмно-зелёным плащом, отороченным светлой, нынешнего года хвоей. На загляденье крепка собой и хороша. А придёт осень – вызолотит за нею ровненькие берёзки, обольёт румянцем рябины...

– Здравствуй, красавица! – сказала я ёлке.

Ветра не было, но дерево поклонилось в ответ.

Уходившее солнце освещало лишь самые лесные макушки. Я выпряглась из кузова и оставила его в холодке. Молчан первым нырнул под плотные ветки, проверяя, нет ли кого, не надо ли выгонять.

Здесь у меня был давно обжитый дом. Горбатой кучей пушилась многолетняя опавшая хвоя – мягкая перина любому доброму гостю. А поискать хорошенько, найдутся и кремень с кресалом, и миска с ложкой, и закопчённый горшок! И даже глиняный светильничек, чтобы в зимнюю ночь не скучать одной в темноте...

Совсем померк свет, чуть пробивавшийся извне. Я развернула тряпицу, вытаскивая хлеб-сало, и припомнила, как вздумала было однажды принести

другую ложку – а мало ли! – и как потом махнула рукой и не принесла.

Вот и ещё одно лето одиноко уходило от меня прочь, на закат, падало за леса и болота, за великое море... я и вчера это знала, и позавчера, но тут как накатило – да что ж это со мною? За что мука такая?! И до того захотелось выпорхнуть из-под ёлки, прижать ладони ко рту, разорвать криком сгустившийся ночной мрак:

– Где ты?..

И затеплится вдали живой огонёк, протрубит серебряный рог, откликнется человеческий голос... Не может того быть, чтобы не отозвался... И раздвинет унизанные росой кусты, выплывет из тумана долгогривый уверенный конь, и выедет на поляну Тот, кого я всегда жду.

– Ты ли звала, девица? – спросит он, улыбаясь, а я слова разумного выговорить не смогу, только кивну... Я не умела представить ни голоса, ни лица, но не сомневалась – признаю немедля. И не боюсь я его – да кого я боялась! А он будет сильный и большой, орёл против меня, птенчика желторотого. Что ж не быть птенчиком у такого-то под крылом. И взойдёт золотое, ликующее вешнее солнце, и покажется, что всю прежнюю жизнь я бродила в диком лесу, а теперь попала домой...

Я лежала недвижно, не раскрывая глаз, лишь тёплые слёзы текли себе из-под век, скатывались по вискам, противно ползли в уши. И кто-то другой, всегда живший во мне, смотрел как будто со стороны и кривился, насмешничал: развалилась кобылица, хоть в соху пряги, жди, сейчас кто придёт головку шёлковую гладить, слёзы жемчужные утирать...

Я не побегу никуда. И звать не стану. Глупости всё. Мечты. Не отзовется никто, кричи не кричи. Орла заждалась. А вот осерчает дядька да сговорит долой со двора замуж за малолетку, сопли ему вытирать, на руках носить сонного на полати...

Молчан заскулил еле слышно, ткнулся холодным носом мне в щёку. Он не любил зря подавать голос, в жизни не лаял и редко даже рычал. А уж строгий был – не всякий раз допускал себя приласкать. Но вот уразумел горе хозяйкино и то, что за мою обиду некого рвать, что сродни она тоске зверя, глядящего на луну.

Я обняла доброго пса и скоро уснула. И будто кто шепнул напоследок: пройдёт двадцать лет, и вспомнишь, счастливая, всё нынешнее со смехом... Теперь я знаю, это нащёптывала мне сама моя молодость. Молодость склонна отчаиваться там, где нет повода для огорчения, и надеяться, когда уже и быть не может надежды.

Я спала и не слышала, как по лесу зашумел порывистый ветер, а после и дождь.

2

Утром меня разбудила возня белок в ветвях над головой. Я давно знала белок, а белки – меня и Молчана. Молчан даже голову не повернул посмотреть.

Я выбралась из-под ёлки. Утро занималось холодное и рассудительное. В такое утро припомнишь, о чём сладко грезилось накануне, и криво усмехнёшься, потрянёшь головой.

Я взвалила на плечи кузов. Теперь следовало поспешать. Иначе несладко будет грибам, да и мне не миновать поношения: одно дело, мол, так и за то лучше бы не бралась... хорошо хоть день выдался пасмурный, не жарко шагать.

Ближняя дорога домой пролежала вершинами песчаных холмов, заросших добрыми соснами. Серый мох под ногами впитывал моросившую влагу. Я шла босиком. Я любила ходить в лес босиком. Без обуви нога становится зрячей и ловко выбирает, куда наступить. А одета я была парнем: штаны да некрашенная рубаха. Сто лет назад меня точно прогнали бы из дому за подобный наряд, а то и ведьмой назвали, но теперь времена были иные: ворчали, грозились – и только. Мать, правда, плакала, мол, сбегут последние женихи. Но в мужских портах легко было прыгать через лесные коряги, а женихи не умели даже сладить с загадками, которые я загадывала на посиделках. А уж про то, что ни одного из них я не забоялась бы на кулаках, не стоило и говорить.

Сосны иногда расступались, и я нарочно придерживала шаги, чтобы рассмотреть вдали небеса того особенного жемчужного цвета, какого никогда не бывает над

лесом. С северо-западной стороны нависало над нами великое Нёво. Старики говорили, когда-то оно медленно надвигалось на сушу; так и залило бы весь белый свет понемногу, да сжалился благодетель Сварог и пропахал воде широкое устье на запад, в Котлино озеро, в самое Варяжское море...

Сто лет назад наш род жил на самом Нево, на берегу. Жаль, без меня миновали те времена. Родись я пораньше, может, и не было бы у нас ныне с лесом такой лютой вражды.

Самая пора, кажется, рассказать теперь про Злую Берёзу и про то, почему наш род ушёл с берега моря. Потом-то, боюсь, некогда будет!

Сто лет назад в море Нево начали появляться длинные корабли под полосатыми парусами. Северные мореходы с одними вели торг, других грабили, третьим велели откупать жизнь и добро. А иных – хуже не придумаешь – насильно везли прочь, продавали холопьями где-то в дальней чужой стране...

Пращур мой не стал ждать, пока нападут. Благо, вблизи прежнего селища падала в Нево протока, а за протокой лежал широкий разлив, поросший колеблемым тростником, усеянный лесистыми островами. Не всякий пройдёт насквозь с первого раза. Пересёк его пращур и сел по ту сторону на матёрой суше, на высоком крутом берегу. Там жила в лесах голубоглазая, беловолосая весь. Лесов нехоженных никакая птица перелететь не могла; дичи, ягод-грибов было в достатке, и весь не обиделась, начала в гости ходить. Разбойники же новых дворов так и не доискались.

А на прибрежном холме, там, где поднялся тын, стояла пара берёз. Они росли из разных корней, а ветви сплетались высоко в небе, как обнявшиеся руки. Весной на обеих распускались одинаковые серёжки, но все немедленно поняли, что это были берёза-муж и берёза-жена. Одна была кряжиста и могуча и словно оберегала вторую, а чуть поодаль тянулись к солнышку два тонких ростка... Взрослые деревья шумели над ними, распевая согласную, счастливую песню...

Пращур мой достраивал хлев, и вот поди – приглянулась ему берёза-жена, такая уж ровненькая, как раз на охлупень. Он её и свалил. Повинился перед обиженной древесной душой, покормил, как заведено, маслом. Отсёк ветки, впряг лошадь и потащил брёвнышко домой. И сам не заметил, как затоптал по пути обоих берёзовых деток.

...Вот когда начались у нас страшные чудеса! Ночь за ночью муж-берёза выдирает из земли корни и пододвигался к избам на полшага! Пядь за пядью – упрямо туда, где белело в лунном свете нагое тело любимой! Хотели задобрить его угощением, прирезали молодую корову – не помогло. Решили срубить – топор соскользнул по белой коре, уязвил пращура в ногу!

Уже над самым тыном нависали шевелящиеся ветви, когда наконец додумались позвать ведуна. Весский волхв-арбуи долго ходил вокруг дерева посолонь, творя заклинания, потом добыл огня и прижёл торчавшие корни, и Злая Берёза остановилась. Ни разу с тех пор она не цвела и даже весной зеленела медленно и неохотно. словно не жила вовсе, а томилась в тягостном колдовском сне, где не было ни пробуждения, ни смерти... И оживала лишь изредка, чёрными ночами, когда ветер дул с моря. Тогда ветер смыкал и размыкал её ветви, и дерево становилось похоже на руку, воздетую из-под земли и шарившую... шарившую... и человеческим стоном надрывалась душа, заключённая в корявом стволе... люди в избах, снедаемые страхом и совестью, теряли покой.

Вот какое проклятие тяготело над нами, вот почему никто в нашем роду не совался в лес без нужды. Разве только зимой, когда лесная сила вся спит. Мне одной не было страшно. Я всегда знала про мужа-берёзу, а лет в двенадцать впервые его пожалела. И твёрдо решила: родись я пораньше, легла бы у пращура на дороге, а не допустила злодейства!..

Тогда приснился мне сон. Сон вроде странный, а вдуматься, ничего удивительного. Я как раз в тот год уронила первую кровь, сняла детскую рубашонку и постилась, запертая в клетки, провожала девчоночий возраст, как от прадедов заповедано: незрима солнцу, не смея ног наземь спустить... И привиделось, будто треснуло, как от мороза, раскрылось неохватное древо... выпустило человека...

С тех-то пор появился у меня Тот, кого я всегда жду. Я в девчонках такая была: что в мыслях, то и на языке. Однако тут достало ума промолчать. Незачем. Не всё напоказ.

Шла я, шла – и вот наконец шагнула, как в двери, меж высоченными соснами... и сколько хватало глаз легло передо мной тусклое неспокойное море. Вспененные волны казались издали рябью; жаль, недосуг было спуститься к ним, тяжело

ворочавшимся в прибрежных камнях. С моря приходили сердитые бури и разбойные корабли, но я любила его всё равно. Глядя на море, я мечтала о необыкновенном. У мечты не было внятного облика – просто хотелось не то бежать куда-то, не то взмахнуть нежными крыльями – и лететь... Не могу лучше сказать.

Я думала уже уходить, когда на глаза мне попалась чёрная точка, мелькавшая далеко-далеко. Корабль!.. И хоть верьте, хоть нет, но предчувствие кольнуло меня сразу. Бывает, что в избу, где посиделки, заглядывает припозднившийся гость, и вдруг знаешь – не к кому-нибудь подойдёт, прямо к тебе. Так и тут. Точка ещё не успела стать лодьей, а я уже видела, как она входит в протоку... крадётся меж островов...

Я встряхнулась, прикидывая свою ношу. Бросать, так к дому поближе. Жаль было грибов и самого кузовка, родной ведь. Я свистнула Молчана, и мы заспешили.

...Накликала, зло корил меня кто-то другой. Мечтать больно горазда. Вот, дождалась, валит в гости черна толпа женихов. Много их там, и руки у каждого длинные, как раз за косу ловить!

Я неслась во весь мах, изредка замирая на макушках холмов. Корабль двигался быстрее, чем я ожидала. От этого было ещё страшней, и предчувствие продолжало меня терзать. Я стала оглядываться на каждом шагу. Я шла слишком медленно, а побежать мешал кузовок. Я ссадила его, уже не выбирая удобного места, остановила хромавшего пса:

– Береги!

Молчан послушно улёгся, а я натянула поглубже шапку со свёрнутой в ней косой – не хватало ещё, чтобы вывалилась, – и пяточки засверкали. Лук в налучи и тул со стрелами лупили меня по бёдрам – ни дать ни взять подгоняли.

Я вылетела из леса, едва дыша от волнения: должно быть, корабль опередил меня, и я никого не сумею предостеречь. Но нет, повезло. Быстра была я всё-таки бегать. Вот они две наши избы, вот он тын – плотно спряженные островерхие колья, обступившие жильё... Угрюмым исполином высилась над ними Злая Берёза. Ворота были распахнуты, и светлородый муж спускался к озеру, неся на плече сеть.

– Дядько Ждан!.. – закричала я из последней могучи, сообразив, что голос добежит быстрее меня. – Дядько Ждан!..

3

Всё-таки беспечно мы жили. Не были приучены к страху, к тому, чтобы по первому крику подхватывать пожитки и удирать. Это нас и сгубило. Пока металась мы с братьями, пока наши матери суматошно вязали узлы и собирали вокруг себя ревуших детей – хмурой угрозой выдвинулся из-за мыска парус, и в разливе прямёхонько перед нами явился корабль. Что ж ты оплошал, дедушка Водяной, не запутал, не остановил!.. Не на тебя ли надеялись, не тебе ли ранней весной дарили чёрных козлов? Не помогали чужого Омутника выпроваживать, когда водворился? Или, может, такие гости пожаловали – не совладать?..

Корабль был чёрный, как уж, плывущий в пруду. А посередь паруса – белый на пасмурно-сером – красовался злой сокол, падающий с небес... Варяги! Ладожские варяги! Грозного князя Рю?рика люди. И никому не ведомо, что у них на уме.

Бежать было поздно, сражаться же... Мы как-то сразу оставили бестолковую беготню и сгрудились возле тына. Только мать подхватила младшеньких дочек и скрылась с ними в избе. Как дитя малое, что прячется в пожаре под лавку...

Мы ждали – корабельщики ударят длинными вёслами, поспешая к поживе. Втащат лодью на берег и побегут ломать наши ворота... Ошиблись. Корабль сбросил парус и подошёл неторопливо, будто не желая пугать. Ткнулся в берег и встал возле наших лодок, обсыхавших днищами вверх.

Я смотрела на мореходов, по одному перелезавших через борта, и меня колотило. Я стояла около дядьки и держала лук наготове. Мой лук. Берёзовый да можжевеловый, оклеенный оленьими жилами и берёстой. Его натянуть – что поднять за шиворот сестрицу Белёну. Он достался мне в наследство от дедушки; хороший лук, если ухаживать, не дряхлеет. Сам дядька задумался бы, прежде чем браться за его тетиву.

Варягов оказалось не более двадцати, но против нас это была страшная сила. Правда, половина тут же растянулась на травке – видать, соскучились в море, – и лишь несколько начали подниматься наверх. Впереди шёл высокий воин с обвязанной головой. Мы сразу поняли, что это был вождь. Вожди всегда идут первыми, если неведомо, чего ждать.

Дядька облизнул губы и сказал мне почему-то шёпотом:

– Останови-ка его.

Подходившие были ещё далековато. Мой лук заскрипел, дрожа от натуги. Я прикинула расстояние и ветер и выпустила стрелу. Все глаза метнулись за ней. Стрела очертила дугу и ударила в землю как раз возле ног шедшего первым. Ай да я!

Варяг остановился. Поднял голову, глянул на нас, потом на торчавшее древко. Конечно, он понял предупреждение. И страх, его породивший.

Воинам вокруг него наша выходка показалась обидной, но предводитель их удержал. Встал так, чтобы мы хорошо его видели. Расстегнул пояс, сложил наземь ножны с длинным мечом. И неспешно пошёл, один, безоружный, к нашему тыну.

Была на нём красно-бурая льняная рубаха и штаны из тонко выделанной кожи. При всякой погоде в такой одежде весело телу. А ростом он был едва не с наши ворота, но двигался неожиданно мягко и легко, ни дать ни взять лесной кот, в котором под пёстрой шубкой не заподозришь костей.

Подойдя, он остановился и некоторое время стоял неподвижно и молча, уперев руки в бока... Сразу шестеро стрелков держали его на прицеле, и моя стрела была одной из шести. В такой близости она ударит крепче гвоздя под молотком, не спасут ни шлем, ни кольчуга, да при нём их и не было. И тем не менее он не боялся. Вот так. Мы боялись, а он, под смертью стоявший, нас не боялся. Мне казалось, он чуял наш страх, истекавший в щёлочки тына. Это тоже был поединок, и я уже видела – хвастаться придётся не нам.

– Ну что, добрые люди? – сказал он наконец. Не очень громко сказал. Но так, что мы слышали. – Всех гостей стрелами привечаете? Или меня одного?

Я покосилась на дядьку, но дядька молчал.

– Там мои кмети, – кивнув в сторону берега, продолжал мореход. – Они называют меня Мстивоем Ломаным, а иногда ещё воеводой. Хотели мы выпасться у очага, да поесть, да в бане погреться... Что сдумаете, добрые люди? Рати не побоитесь, и мы ведь не побоимся. И уж сами возьмём что пожелаем, просить больше не будем. А миром кончить решите – открывайте ворота. Да прежде выдайте мне того, кто у вас тут так зол стрелы метать.

Он говорил по-словенски понятно и без запинки, но почти в каждом слове, как седина в чёрной лисе, проскальзывало чужое. Кончив, он повернулся и так же неторопливо зашагал прочь, не дожидаясь ответа. У него был широкий и ровный шаг человека, привыкшего, чтобы перед ним расступались. Мстивой, подумала я. Мстящий Воин. Хорошее прозвище для вождя. Как его на самом деле зовут? Луки в наших руках поворачивались ему вослед, потом по одному опустились. Подойдя к своим, он что-то сказал, ткнув пальцем через плечо. Послышался смех.

Тогда я отвернулась от варягов и сразу встретила глазами с дядькой. И удивилась, каким чужим и незнакомым было его лицо. А братья, стоявшие подле, тихонько, бочком, отодвигались в сторонку. Как будто рядом со мною почему-то стало опасно.

Кажется, я недоумённо сморгнула, и дядька из незнакомого сделался злым:

– Слыхала, что ли? Ступай!

Тут я начала понимать, что происходило. Я ещё двигалась и дышала, но для всех я уже умерла. Вот когда даже мысли во мне онемели, не говоря уже о руках и ногах. Я только порадовалась каким-то краем сознания, что мать в избу убежала и не увидит. Всё правильно, моя стрела, мне и честь. Плохим старейшиной был бы дядька, вздумай он меня укрывать. Но я едва оторвала от земли ногу, делая шаг к воротам. И кто-то из братьев толкнул меня в спину, чтобы поторопилась. А ну осерчают грозные пришлецы, с мечами падут на неучтивых...

Я не помню, о чём думала. Должно быть, ни о чём. Я подошла к воротам, как во сне. Вот раздвинулись тёсанные, с младенчества знакомые створки... Парни отворачивались, пряча глаза. Наверное, им было стыдно моей трусости, моих тряских коленок. На моём месте любой из них выглядел бы краше. Наверное. Я не знаю. Я миновала ворота и оглянулась.

– Поди! – прикрикнул дядька сердито. – Чего хочешь, чтобы всех из-за одной тебя порубили?!

Я отступила, ворота захлопнулись. По ту сторону остались сестрёнки и мать, сам дядька и вся моя прежняя жизнь... Я теперь была сама по себе, отрезанный край. Никто не придёт мне на выручку, ни братья, ни Молчан, ни Тот, кого я всегда жду.

Почему я не кинулась в сторону, не попыталась скрыться в лесу? Не догадалась – слишком крепко запеленал меня страх. Я видела перед собой только варягов и тропку, по которой надо было сойти. Меня выдали на расправу, вот я и шла – умирать...

Потом я запнулась о камень и вспомнила, что при мне был мой лук. И выдернула старого друга из налучи, кидая к жилке стрелу. Спасти не спасёт, но лучше с ним, чем без него.

Воины кучкой стояли вокруг упавшей стрелы. Мне показалось, они смотрели не зло, больше насмешливо. А я не спускала глаз с вожака. Его меч опять висел у бедра, почему-то справа, тяжёлый меч с забавными рожками на рукояти. Сейчас вытащит и...

Какой же он был огромный. Более чем на голову выше меня, и мой ужас его ещё увеличивал. Горбоносое худое лицо казалось вылинявшим от застарелой усталости, несвежая повязка присохла ко лбу, а волосы и борода были на две трети седыми, и оттого он сперва показался мне если не старым, так пожитым. Он смотрел не мигая, и глаза тоже были какие не всякий день встретишь. Светло-серые у зрачка и будто углём обведённые по краю... Ой, щур, спаси меня, щур!..

Но тут в жестоких глазах что-то затеплилось, и Мстивой Ломаный улыбнулся:

– Опусть лук, дитятко... Убьёшь ещё ненароком.

Я осторожно ослабила тетиву и почувствовала, как свело пальцы на древке стрелы. А в голосе варяга была вроде жалость с презрением пополам. Он же видел, как коверкал и ломал меня страх.

– За кого вышел, вихрастый? – спросил вождь неожиданно. – За отца небось? Или за брата?

Подле этого мужа мне притворяться парнем было всё равно что худой поганке в лесу – белым грибочком. Но, как ни странно, он ничего ещё не заподозрил. Он настолько не ждал девки, что с трёх шагов не заметил женских оберегов на моей рубахе вместо мужских. Добро...

– За себя, – сказала я сипло и кашлянула. Нас теперь разделяли считанные сажени, и один из варягов, усатый, плотно слепленный молодец, двинулся ко мне, протягивая руку:

– Долой шапку, сопля...

У него было обожжённое солнцем лицо и зелёно-голубые глаза, как драгоценные камни.

Я отскочила, пригибаясь, и двумя руками натянула шапку на самые уши. Кмети захохотали, а Мстивой обернулся к товарищу и осадил его на неведомом языке. Тот отступил виновато, а я вдруг поняла, что они вовсе не думали меня убивать. По крайней мере немедля.

– За себя, говоришь, – повторил вождь. Нагнулся, выдернул и дал мне стрелу: – Докинь обратно, если не врѣшь.

Мне говорили потом, я покраснела. Это я вру? Я не сумею?.. Я встала к ним спиной и оттянула тетиву до правого уха. Я целилась из-под горы, да и ветер теперь только мешал; ну так что же! Стрела ушла ввысь со шмелиным гудением, и я тотчас увидела – не оплошаю. Кованое жало грянуло в ворота. Затрепетало длинное древко.

– Ишь ты, – сказал Мстивой с чем-то похожим на уважение. – Ладно, веди, удалец. Уговор так уговор.

И я пошла с ним по тропинке обратно наверх. И варяги, все двадцать, повалили за ним. У меня голова шла кругом, я только старалась шагать широко, по-мужски. Но так, как у вождя, у меня всё равно не выходило.

4

Ворота распахнулись навстречу. Дядька Ждан стоял посередине: кому встречать гостей, как не ему. Он даже улыбался, но неуверенно, и губы были серые... ещё бы.

Потом я увидела мать. Она прижимала к груди наспех собранное угощение: хлеб и ковшик свежего молока. Она очень боялась, но страх за меня пересиливал. За цыплѣнка и курица лютый зверь. Мать пошла прямо к Мстивою, протягивая нехитрую снедь. Так ведѣтся: в каком доме поел, там становишься за своего, там озоровать уже не моги.

...Вождь споткнулся и замер, точно грудью налетев на копьѣ. Так, будто подали ему не молоко, а болотную воду, кишашую пиявками и червями. Несколько воинов разом шагнули вперѣд, заслоняя его, хватая мечи... а тот плотный парень прямо побелел и взмолился:

– Бренн! Лез ва!

Но вождь уже справился с собой. Покачал головой и ответил на том же чужом языке:

– Пив грайо э кен гвеллох ха ме...

Взял у перепуганной матери ковш, поблагодарил и спокойно, не торопясь, выпил всё до конца. По нему не было заметно, чтобы что-то стряслось. Но я откуда-то знала: стряслось, и такое, чему уже не поможешь. Такое, что, доведись им второй раз прожить минувшее утро, темнобокий корабль прошёл бы далече от нашего берега...

Дядька Ждан повёл примолкших варягов к себе в избу. Я слышала после, они прошли в дом по одной половице и первым долгом поклонились печи. Вправду, что ли, гости как гости...

Мой кузовок никуда не убежал со своего места. От Молчана не убежишь. Молчан лежал неподалёку, опустив голову на скрещённые лапы. А перед ним на пеньке сидел молодой малый в расшитых сапожках с загнутыми носами. Я знала его, он жил за болотом, мать его была словенкой, отец – весином из рода Чирка. Таких семей теперь было много, и дети рождались красивые и смышлёные как на подбор. Вот и мой паренёк удался хоть куда: волосы и бородка – весского бледноватого золота, нос – с курносинкой, а всё лицо наше, словенское, и глаза голубые, чуть-чуть раскосые. Девки сохли и ссорились из-за пригожего молодца, а я его почитала себе едва ли не братом. Весское имя его было Андом, что означало Подарок, словенское – Ярун. Хорошие имена и как раз по нему. Он сказал:

– Растолкуй своему глупому псу, что я не вор.

Я нагнулась к Молчану, похлопала по загривку:

– Разумник ты мой.

Ярун потянулся, хрустнув плечами, и поднялся.

– Давай помогу.

Я вскинула глаза: обычно с меня помощи спрашивали. Но, видно, такой уж сегодня выдался день.

– А помоги, – сказала я Яруну. – Да пошли к нам. К нам нынче знатные гости пожаловали...

На краю леса я всё-таки отняла у него кузовок. Хорош буду я парень, если увидят. Пришлось позабавить Яруна рассказом, и он пообещал не выдавать.

Он внимательно рассмотрел корабль возле берега и двоих мореходов, оставленных сторожить. Ворота были раскрыты, и никто не помешал нам войти. Мстивой Ломаный держал слово, варяги вели себя действительно как гости. Когда Ярун увидел их вблизи, вооружённых дорогими мечами, уверенных в себе и друг в друге, я прямо услышала, как заплакала в нём душа, поражённая отсветом чужого и необозримого мира... Мира, в котором вселенная нашего рода была лишь крохотным островком... Этот мир пугал и манил одновременно, мы были детьми, первый раз выглянувшими за порог родимой избы...

Молчан прижимался к моей ноге и глухо ворчал, взволнованный множеством незнакомых людей. Я взяла его за ошейник и повела домой. Мать попалась навстречу запыхавшаяся, с горшком пареной морошки в руках. Видно, дядька и её призвал ухаживать за гостями.

– Малых побереги, – шепнула она мне на бегу. – В клетки они...

Войдя во двор, я посадила Молчана возле клетки и заглянула вовнутрь. Три кудрявые девчушки отчаянно завизжали, прячась за коробами, потом пригляделись против света и перевели дух. Недоставало Белёны.

– Она в задок собралась, – объяснили меньшие.

Добро, повременим. Я вытащила нож и уселась на пороге чистить грибы. И так вон уже сколько, бедные, дожидались. Хорошо хоть день простоял непогожим, не обманул. Мы сквасим грибы в дубовой кадлушке со смородиновыми листьями,

укропом и чесноком, – даже теперь слюнки потекли, как подумала, – и старшая дядькина жена до весны будет заглядывать к нам, смущённо пряча за спиной пузатую мису... Кадка будет стоять в общем подполе, но у нас доподлинно знали – испортится, если другой, не я, крышку поднимет. Может, и верно.

А вообще-то мысли мои вертелись, точно ошпаренные ужи, и, конечно, всё вокруг варягов. Волнушки успели покрыть дно решета, когда я схватилась: Белёна! Давно пора было вернуться, если только ходила она точно в задок. Не иначе сестриц провела да и меня заодно. Деваху смазливую хлебушком не надо было кормить, дай покрутить подолом перед своим ли, перед чужим... И то сказать, самая пора в пятнадцать-то лет, мыслимо ли дожидаться, покуда меня, коровищу, сведут со двора!

Молчан насторожил уши, но я оставила его у клетки. Никто, кроме матери, не войдёт туда и не выйдет, а Белёну я и сама как-нибудь разыщу.

Я угадала. Сестрице моей дела не было до материнских запретов, своего же умишка нажать ещё не успела, не додумалась поостеречься чужих, перехожих людей, давно не видевших жён... Я нашла её неподалёку, у тына. Молодой варяг, тот самый товарищ вождя, прижал глупую к брёвнам и знай себе целовал.

Ой, что со мной стало!.. Не помню, как подлетела. Схватила обидчика за волосы, отодрала от сестры. Он зарычал и досадливо отмахнулся, но я первая сложила кулак и вlepила ему в переносье. Очень уж мне хотелось его, бесстыжего, наказать.

Я давно выучилась драться. Когда зимой сходились побаловаться на льду, не всякий парень вставал против меня, какое там девки. Варяг на миг ослеп от удара, из носу брызнула кровь. Но он был воином. Он дотянулся и швырнул меня наземь. Я кувырнулась через голову, и косища выкатилась из-под шапки.

Косу, правду молвить, я отрастила вовсе не бедную. Ниже колена и толщиной в хороший кулак. Мало мороки было расчёсывать надоедную, оберегать в лесу от острых сучков!..

Молодой воин уже шагнул ко мне, потом поглядел – и забыл утереть кровь, бежавшую из ноздрей. И тут подле нас опять явилась сбежавшая было Белёна. Она семенила вдоль тына, надув губы для плача, но на её месте и я, пожалуй, не

смела бы пикнуть. Мстивой Ломаный вёл её за ухо.

Приметив нас, он остановился и некоторое время молчал.

– Видал я девок, неплохо бивших в цель, – медленно проговорил он затем. – Но не из такого лука, как у неё.

Больше он ничем своего удивления не показал. Толкнул ко мне Белёну, и та в кои веки раз обняла старшую сестрицу, прижала к моему плечу зарёванное лицо. Вождь кивнул побратиму, осторожно щупавшему нос:

– Пойдём, Славомир.

До ночи в нашей избе по одному, по двое перебивала вся их ватага. Седоусые кмети оказались любопытней мальчишек, каждый хотел сам взглянуть и увериться, что не соврали, что у меткого стрелка была цветная лента в косе. Всё-таки в каждом взрослом мужчине до ветхих лет сидит всё тот же мальчишка. Зато почти в каждой девочке-подлечке уже готова хитрющая взрослая баба. Сестрёнки уж и не прятались, а мать... мать мигом передела меня в лучшее платье и знай нашёптывала на ухо:

– Ласковой, ласковой гляди...

Так-то. Страх страхом, а женихов дочке строптивой приманивать не забывала. Варяги звали меня с собой в дядькину избу, посидеть за столом, испить с ними бражки. Мать кивала с того конца избы, но я не шла. В конце концов мать вскипела:

– Кого же я вырастила? Вот горе моё!..

Я ответила:

– Дрова колоть или соплюх этих стеречь, тут я всем тебе хороша.

Мать села на лавку и немедля расплакалась, и мне стало стыдно. Я села рядом, принялась утешать. Тем кончила, что сама разревелась. Я же понимала, что она

не со зла.

Варяги прожили у нас несколько дней. Вволю парились, долечивали раны, поглядывали на пригожих девчонок. Впрочем, силой за косу не тащили: вождь Мстивой шуток зря не шутил. Дядька Ждан не смел его расспросить, за что бы да отчего подобная ласка. Мореход разговорился с ним сам. Господин, мол, Рюрик велел ему выстроить на море городок и приглядывать за побережьем, отваживать дерзких людей из Северных Стран... Городок этот с прошлого года стоял к полудню от нас, в четырёх морских переходах. О нём сказывали охотники, ходившие в те края за песцом. Мстивой называл городок диковинным именем: Нета-дун. Что это значило по-словенски, дядька не любопытничал.

Варяг разложил перед ним гладкий берестяной лист, означил концом ножа море, протоку и наше сельцо; вышло вроде похоже. Потом очертил берег и поставил кружочек, проколов бересту:

– Здесь живём.

Ещё он сказал, чтобы мы никого теперь не боялись. Ему, Мстивою Ломаному, велено было о том позаботиться. И не даром, конечно. Звалось это данью: мёд, меха, воск да вяленая рыба. Зимой в Нета-дуне нас будут ждать.

– Ой, княже, – захохотало дядька. – Заступы твоей мы покуда не видели, а куны готовить велишь! Смотри, уйдём, не удержишь...

– Я не кнез, я воевода, – ответил Мстивой, произнеся княжеское звание на свой лад, по-варяжски. Посмотрел на дядьку сверху вниз и втоптал его в землю: – Однажды мой старый отец попал в руки датчанам... Они признали, где было лесное убежище, но не от него. Я понял, что налезу здесь дань, когда ты девчонку выставил за ворота...

Ярун обежал с новостями мало не весь лес, и у нас стало людно. Весские, корельские, словенские парни летели как пчёлы на сладкое – хоть одним глазком взглянуть на варягов. Ходили за воинами след в след, просили дать подержать секиру или копье, заводили робкие разговоры о собственном лихом молодечестве. Былая охотничья жизнь уже казалась безрадостной, лишённой удалства и забав. Подумаешь, снять с дерева белку, один на один свалить шатуна или пройти по порогам, не оцарапав кожаной лодки...

Варяги незло посмеивались и больше радовались отчаянно смелым проказницам, прятавшимся за спинами парней. Этим дурёхам здесь чудились удивительные женихи, совсем не похожие на своих, незначительных, обыкновенных... Со всех сторон хорош воин, откуда ни погляди. Он и надёжа, верный защитник, мужчина среди мужчин. Он никого не боится, за ним, что за стеной, тепло, сыто и весело. А уж обнимет – все косточки сладостно захрустят... Это сразу видать, даже глупой Белёне. Кто чуть поумней, тому, как дальний ветер в лицо, повеет древнее таинство. Одного позовёт, других испугает... За воинами стоят суровые Боги. Как скалы, растущие к небу из спокойной чёрной воды. Посмотришь, и дух зайдётся от страха, а не отвести глаз! Воины дарят себя Перуну, хозяину молний, на них пребывает грозная благодать. Бой для них – не простая сшибка из-за добычи, это – служение. И жертва, если понадобится... Перед воинским Богом в страхе мечутся Домовые, ныряет поглубже в омуты Водяной, отступают, склоняют седые головы хранители-предки... Вот отчего и на нас как будто легла огромная тень, вот отчего липли к каждому кметю девки-разумницы: подарит дитя – подарит милость Перуна, которой сам наделён... А уж дома-то станут носить на руках, и женихи сизокрылыми соколами слетятся к порогу: от воина сумела родить! Да вдруг сына!.. Счастье в дом приманила!..

...Всё воистину так, но моя-то Злая Берёза только гремела железными сучьями, не торопясь кланяться никому, даже Перуну. Я не могла объяснить, но в ней жила равная сила. Я видела: варяг-воевода ни разу не подошёл к дереву близко. Ни разу не наступил даже на тень, наверное, ему, вождю, было многое зримо, невнятное другим... а заметил ли это ещё кто-нибудь, кроме меня, откуда же знать.

Один малый, ровесник мне по годам, повадился к нам приходиться. Нежатою звали. Глаза у него были совсем не те, что у воеводы. Карие, ласковые. Знать, от воинской жизни ещё не ороговела душа. Отец Нежаты, словенский хоробр, пал на этом вот корабле. Вождь и взял к себе сына погибшего, присматривал за ним,

как за родным.

Я рада была слушать разговорчивого Нежату. Мне очень хотелось его расспросить, почему это вдруг отчаянный вождь едва не попятился от ковшика с молоком, и ещё, на каком таком языке толковали порою друг с другом воевода и Славомир – ведь не по-варяжски?.. Варяжский язык словенскому брат, с пятого на десятое, а что-то поймёшь; здесь же... Любопытство меня боролось, но к слову всё как-то не приходилось. А Нежата перенимал у меня коромысло, в охотку помогал тянуть из подпола корчагу – и всё старался коснуться когда плечом, когда рукой. Я и не замечала сперва – спасибо Белёне, надоумила. Она, конечно, вертелась юлой, но Нежата на неё не глядел. Однажды Славомир посмеялся братски:

– Смотри берегись, эта девка тебя в кадку посадит да крышкой сверху закроет...

Я при том не была, передали. В который раз про меня говорили подобное, в глаза и заглазно, но тут я обиделась.

Нежата явился вновь только под вечер.

Это был последний вечер перед отплытием, и он уговорил меня посумерничать с ним на крыльце. Расстегнул тёплый плащ-мятель, хотел набросить мне на плечи. Тоже выдумал. Это я не смекнула взять из дому шубу или платок, ему-то что мёрзнуть ради меня?

Я за день набегалась, глаза сами собой на ходу закрывались. Я зевала в кулак и только думала, скорей бы ушёл, спать отпустил.

– Красивая ты, – сказал вдруг Нежата, и я почувствовала его руку у себя за спиной. Он добавил шёпотом: – Моей назовись.

Вот когда миготом отлетел прочь всякий сон, и столь сладкое тепло меня охватило, такая блаженная и покорная слабость, какой я ни разу прежде не знала. А что, может, и правда я зря невесть кого дожидалась?.. Сейчас поцелует... никто не целовал меня прежде. Белёна и та глядела княгиней и на меня вроде дулась, зачем я отогнала Славомира... Неужели, подумала я сбивчиво, неужели?.. Вот так оно и бывает?

Нежата осторожно обнял меня, стиснул мою руку в своей, сердце молодое, знать, разгоралось. Но я вдруг увидела, как Тот, кого я всегда жду, грустно улыбнулся издалека. И Злая Берёза глядела через тын будто с укором... Я вздрогнула, стряхивая дурман.

- Ты что? - обиженно изумился Нежата. - Гонишь никак?

- Нет, не гоню, - ответила я, подумав. - Но и целовать тебя не могу. Не сердись.

Он отодвинулся, спросил хмуро:

- Обещалась, что ли, кому? Могла бы сразу сказать.

Я покачала головой, медля с ответом. Рассказывать не хотела, а врать - по сей день не учёна.

- Ну и сиди! - бросил он зло. - Больно горда!

Назови хромым быстроногого, он ухом не прянет.

Осердится, у кого на пятке мозоль. Я ответила по достоинству:

- Ты-то не присватайся, людей насмешишь. Беги себе, пока искать не пришли. Ещё сдумают - зашибла тебя!

Он вскочил, как политый кипятком. Случись на моём месте Белёна, я думаю, он отплатил бы ей просто: закрыл рот ладонью, унёс куда-нибудь на руках и не больно думал в запале, что ещё там скажет Мстивой. Со мной сладить было труднее. От Славомира бы я навряд ли отбилась. От Нежаты - не знаю. И он тоже не знал. А оплошаешь - сраму не оберёшься...

Тут серой тенью поднялся мой Молчан. Его глаза горели жутким волчьим огнём - не пощадит! Нежата посмотрел на меня, на Молчана... плюнул, да и пошёл со двора.

Утром варяги спустили в воду корабль и приготовили парус. Я долго колебалась, идти или не идти провожать, потом всё же пошла. И не пожалела. Почти одновременно со мной на берег притопало полтора десятка парней с Яруном во главе. Надобно было видеть их жаркие от волнения щёки, берестяные тулы и сияющие, как бритвы, дроворубные топорики у поясов. Варяги, грузившие на лодью дарёную снедь, побросали работу.

Ярун подошёл к краю воды и встал перед воеводой:

– Возьми нас с собой! У меня тут ребята один к одному, не лишними будем!..

Довольно долго Мстивой молча разглядывал его с мостков, и я заметила, что вождь отоспался, убрал повязку со лба и очень помолодел. Да, он ничего не говорил не подумав, но было видно – Ярун ему полюбился.

– Не всякий ходит на корабле, кто этого хочет, – сказал он наконец. – Не хуже тебя молодцы по семи годов в отроках служат. Покажи наперво, к чему ты пригоден.

Ярун с готовностью хлопнул себя по бокам, давай, мол, испытывай да сам убедись. Вождь оглянулся и указал ему на подошедшего Славомира:

– Ударь его топором.

Вот когда вмиг оробел мой храбрый охотник! Человека живого и топором? Безоружного? Да ни за что ни про что?..

Славомир рассмеялся, а вождь подбодрил Яруна:

– Не бойся, его не так просто убить.

Ярун провёл рукой по губам и решился. Вынул топор и пошёл к Славомиру, как к волку, застигнутому в овраге. Трусов тут не было.

Он замахнулся стремительно, бросаясь вперёд. Я не успела проследить за варягом. Я только видела, как полетел в сторону отточенный Ярунов топорик, а сам охотник косо пробежал ещё три шага и рухнул в траву. Он поднялся

раздосадованный и смущённый.

– Таков должен быть воин, – сказал Мстивой дружелюбно. – Славомир убить тебя мог, но не убил.

Ярун промолчал – возразить было нечего, и вождь утешил молодца:

– Вы зато в лесу нам не чета. Своего зверя бейте, а мы уж своего.

Славомир весело добавил:

– Вот девку вашу, стрелять мастерицу, я сам первый бы взял.

Меня обдало холодом, от неожиданности я чуть не шагнула вперёд, но парни бессовестные – на лодье и на берегу – залились жеребьячьим хохотом, Мстивой глянул на них, как хлестнул, и некая едва показавшаяся мне мысль юркнула обратно в потёмки, не дала себя рассмотреть.

Вот поставили мачту, подняли парус... Грозная птица взмахнула длинными крыльями, кидаясь вниз из пасмурной тучи. Княжеский знак, сокол Рарог, птица огня. Знамя Рюрика, славного вождя племени вагиров, из Старграда. Этот знак чтили все ходившие западными морями. Теперь и нам следовало его уважать.

Некоторое время мы шли по берегу следом за удалявшимся кораблём. И тут, когда он уже скрывался за островами, я очень ясно увидела саму себя в броне, в добром шеломе и со щитом, на который могло быть нанесено это соколиное знамя. Меж побратимов, что не предадут своего на поругание и расправу...

Пронёсшееся видение удивило и испугало меня, я даже оглянулась – не подсмотрел ли кто, не станет ли насмехаться. Это была мечта, которая поманит и подразнит меня не однажды. Я уже чувствовала. И ещё. Теперь я знала, что Тот, кого я всегда жду, был воином. Подобно Славомиру он мог скрутить неразумного, кинувшегося с топором. И, как он, никогда не ударил бы ради бахвальства. Таков должен быть воин...

Видели вы спесивого, осанистого молодца, оступившегося в лужу у добрых людей на глазах? Закричит ведь, отряхивая узорчатый плащ, на ком ни попадя сорвёт обиду и зло. А случись поблизости человек кроткий да безответный – кабы ещё не прибил...

Весь наш род был теперь похож на такого спесивца, извалявшегося в грязи и не чающего найти виноватых. А что? Разве не нас, так надёжно укрытых разливом, легко сыскали варяги? И не от нас добились всего, чего хотели, даже не доставая мечей?

Соседи-весь в открытую не насмешничали, но будто знали о нас что-то, о чём неприлично было рассуждать вслух. По крайней мере, нам так казалось.

Когда оголились убранные репища, а в лесу, пряча последние грузди, зашуршали жёлтые листья – по деревням начались честные посиделки, беседы досветные. Девушки и ребята собирались все вместе в чьей-нибудь избе, приносили угощение и подарки для добрых хозяев. И, конечно, урок – шитьё, прялки с куделью. Как без урока! Не для корысти трудились, больше для славы: непряху-неткаху, хоть какой красоты, за себя кто же возьмёт?.. Нетерпеливые парни подпаливали девкам кудели, чтобы кончались скорей.

Отбирали клубки и не отдавали, покуда славная не поцелует. И когда наконец ложились последние цветные стежки, когда бывали починены сети, выплетены берестяные лапти и кузова – принимались плясать, заводили игру, разбрёдались по уголкам кто кому люб. Весские парни присматривались к румяным корельским девчонкам, сёстры Яруна всюю прихорашивались для молодых словен. Старые люди рассказывали, как долго дичились три наши племени, впервые столкнувшись лбами в лесу на тихой тропе, как седели от страха перед чужими, почитали друг дружку за колдунов, плели всякую небывальщину – кто кого переверёт... Это было давно. Очень давно. Сто лет назад, а может, и больше. Деды теперь уже сами толком не помнили, а внуки бесстыжие не верили вовсе.

Я любила ходить на посиделки. Где загадку новую услышишь, где узор-невидадь подглядишь, где визнаешь, как печётся вкусный рыбный пирог... Редкая девка

меня обгоняла в шитье или за прялкой. Приходили славные парни из-за леса, из-за болот, подсаживались, угощали орехами. Орехи были вкусные: я пальцами давила скорлупки, и парни почему-то отодвигались, краснея. А Тот, кого я всегда жду, всё плутал где-то, не торопился ко мне.

Настала дядькина очередь приглашать к себе молодёжь, и я отправилась за дочерьми кузнеца – тот, как все кузнецы, жил на отшибе, вдали от людей. Была я подросточком, не раз и не два меня мать уводила отсюда за ухо. Ладно бы ещё училась плавить бронзу и серебро, лить в глиняной формочке блестящие жуковинья... Так нет же – гвозди всё да головки для стрел!.. А ездили к кузнецу через болото, зимой лыжным путём, летом в лодках протоками.

Было дело в самом начале времён – гремели красные молнии, гнал могучий Перун хищного Змея, гнал, мстя за жену, через всё широкое небо, гнал и без пощады гвоздил тяжёлой секирой, покуда не сверг перепуганного, укрощённого в сырое чрево земли... Тогда шла дождём горячая кровь и затекала в пещеры, впитывалась в торфяные болота. Теперь кузнецы доставали её, побуревшую, бросали в жаркий огонь – людям добро, себе достаток. Однако кровь есть кровь, с ней не шути. И с тем, кого она слушается...

Я пустилась в путь на рассвете: пока туда, пока обратно, как раз к вечеру обернусь. Утренний воздух был холоден, пар шёл изо рта. В редеющем сумраке над разливом стояла великая тишина, совсем не то, что весной, когда всякая тварь звонко славит жизнь. И продолжение жизни. Гладкая серая вода лежала между поблёкшими молчаливыми островами. Не трубили гордые лебеди, не сновали туда-сюда хлопотливые утиные выводки, даже рокота моря не было слышно, лишь одинокая чайка плакала вдалеке... Молчан лежал на дне лодки, слушал, как журчала вода. Я умела грести. Я ездила за три дня пути проведать материну родню и не боялась ни волоков, ни перекатов.

Потом издали, едва доступный напряжённому слуху, донёсся многоголосый тоскующий крик: сперва я больше почувствовала его, чем услышала. То горевали серые гуси, прощались, летя на всю зиму в тёплый ирий. Скоро Ярила замкнет их там золотыми ключами, чтобы выпустить на волю только весной.

Молчан насторожил уши, поднял голову, вопрошающе посмотрел на меня. Я надела на лук тетиву и загнала лодочку в камыши. Жёсткие стебли царапали круглые борта. Лодочка была вёрткая, сестрица Белёна как-то попробовала в ней усидеть и нахлебалась воды, зато я разворачивала посудинку одним ударом весла, хоть на чистой воде, хоть в камышах.

Я выбрала хорошее место: перелётные птицы часто присаживались здесь по утрам подкормиться и отдохнуть. Далёк и тяжёл путь к вершине Древа, зиждущего мира, не все долетят, не все вернутся назад... Не зря мы, как заповедано, каждый год осенью погребали птичье крыло! Гусей было несметное множество. Ярун хвастался как-то, будто его крепкую лодку однажды перевернул ветер, поднятый согласным биением крыл...

Крик приближался, и наконец стая возникла из-за лесных вершин, начала тяжело рушиться в озеро. Молчан подобрался, трепет прошёл по сильному телу. Начни он вдруг лаять, даже и я не услышу. Я никогда не трогала вожака. Стрела с двурогим наконечником выхватила из тучи кувыркающийся, теряющий перья комок, а я прицелилась снова. Может быть, мать сразу сварит гусей, а может быть, обвалит в сером крошечке соли, стянет верёвочкой и повесит высоко, под самую кровлю. То-то вкусным станет к зиме плотное тёмнокрасное мясо, облитое сытным жёлтым жирком...

Подранков у меня не бывало. Не снился мне подбитый летун, горько плачущий в камышах, звериные души не приходили казнить меня за причинённую муку. Вот и теперь: сколько стрел, столько гусей, и Молчан осторожно вывалился через борт, поплыл собирать.

Войдя в жильё, я сложила самого крупного гуся перед кузнечихой:

– Прими, хозяйюшка, на здоровье.

Круглолицая женщина как раз выкладывала ложки на стол. Обрадовалась мне, словно родной, усадила вместе со всеми. Принесла щи, дала горбушку свежего хлеба. Я любила к ним приходить. Здесь меня по крайней мере ни за что не корили. И никогда не отпускали без угощения. Мать говорила, просто я им не дочка, вот, мол, сердце-то не болит.

Услышав про посиделки, Кузнецовы близняшки чуть не сорвались из-за стола немедленно расправлять вышитые рубашонки, чистить древесным углём витые серебряные колечки, прилаживать их к налобным венцам. Еле высидели, пока отец не облизал и не положил ложку, нарочно медля и хмуря над смеющимися глазами густые низкие брови. Тогда только кинулись к сундукам – с визгом, с писком, со смехом. Славные всё же девчонки. Дал бы им повелитель Род хороших мужей...

Я посидела у них ещё немного. Другие люди редко шли сюда просто так, без поломанных ножниц и выеденных работой серпов. Кузнецам много ведомо потаённого, с кузнецом хлеб-соль водить, что с волхвом, дружба дружбой, а скажет словечко – как раз на любимый нож налетишь! Так судили в нашем роду, да я уже говорила. Не мне было оспаривать прадедовскую осторожную мудрость, но сама я здесь зла не видала. Как и в лесу.

Пока собирались близняшки, зашла речь о варягах и о Яруне с друзьями. Вот ещё почему я любила бывать у кузнецов: здесь со мной рассуждали как с умной, никогда я не слышала – цыц, бестолковая девка, твоё дело молчать.

– Разума нет у Яруна, – сказал старший сын хозяина, и отец с братом согласно кивнули. – В двадцать лет нет и уж не будет. Собрался петушок с лебедями через море лететь. Слыханное ли дело?

Я смолчала, конечно. У кузнецов была своя правда. Правда неколебимо вросших цепкими корнями в свой очаг и ремесло. Ни зависть, ни любопытство не выдернут этих корней, только беда, а беда и дерево заставит шагать... Наверное, эти-то корни пронизывают насквозь всю нашу жизнь, держат её, как землю, не позволяя расплыться обрывистыми оврагами... Корни рода и племени, глубокие корни отчих могил. Кажется, именно у кузнецов я впервые подумала так о людях и жизни и огорчилась. Мои корешки подмывало больше и больше, ударит волна и опрокинет в быструю речку, повлечёт незнамо куда...

Когда я высадила из лодки близняшек, у нашего тына уже стояли ребята и девушки, собравшиеся для посиделок. Веселились, сыпали задорные прибаутки. Иных я хорошо знала, иных – едва по имени. Луна сияла над лесом. Так ведётся: утром и днём хозяйничают старшие, ночью и вечером – молодёжь. Был там и Ярун. Он поздоровался со мной, похвалил добычу. Я стала показывать ему гусей

и тут увидела: какой-то молодой Словении, отцовский сын, вытащил ножик и, похваляясь перед девчонками, дважды с силой метнул его в Злую Берёзу.

И помстилось внезапно: не кору – мою кожу проткнуло пущенное остриё! Так глумятся над связанным пленником, за которого некому постоять. Видение нагого израненного тела мелькнуло перед глазами... Я шагнула к парню, перехватила занесённую руку:

– Что творишь! Вот тебе тын, столпие мёртвое, в него кидай.

Я испортила ему третий бросок, и он разобиделся. Подобрал нож, фыркнул и вновь повернулся к берёзе, нарочно у меня на глазах. Тогда я взяла его за локти и приложила о дерево. Не сильно, так, чтобы на миг задохнулся. Вокруг нас мигом замолкли, невозмутимый Молчан и тот поднял шерсть на загривке. Я подобрала гусей и пообещала:

– Гляну потом, ещё попортишь – шею сверну.

Он обрёл дыхание и закричал вслед, когда я была уже в двадцати шагах. Я не помню, что именно он кричал. Что-то срамное, скверное про меня и варягов. Нежату зачем-то приплёл и Славомира. Да. От подобного я всегда будто глухну и не могу потом вспомнить обидевшие слова, да и не для чего, если подумать. Что ковырять коровью лепёшку, перешагнуть её или с дороги убрать.

Ярун метал глазами туда и сюда, от своих не хотел отбиваться и со мной ссориться не хотел. Но когда я оглянулась, он кинулся к парню и сгрёб в охапку, загоразивая собой:

– Зимка, не тронь!..

Он говорил потом, ему показалось, я поднимала руку к ножнам. Это он зря. Не так скоро я была на расправу. Я умела драться и синяков, верно, наставила бы, но уж ножом...

Дома мать взяла у меня дичину и немедленно захлопотала:

– Ешь, солнышко, да иди поскорее.

Она уже разложила на лавке новенькую рубаху, клетчатую понёву и весёлые зелёные бусы. Я ответила с тяжёлым предчувствием ссоры:

- Не пойду... радости нет.

До света сидеть нос к носу с обидчиком – этак недолго и всю беседу испортить. Но как объяснишь, как расскажешь, почему не пожалела кулаков за Злую Берёзу?..

Я ждала крика, но мать тихо всплеснула руками и села на лавку. Сейчас заплачет: за что, мол, наказание?.. Наверное, я покорилась бы. Мать ведь. И то уже вон сколько седины в голове, зачем добавлять. Но не успела я раскрыть рот, как передо мной злым лешачонком встала Белёна, затопала:

- От сватов в лес бежишь, одного Молчана целуешь вонючего! Тебя зная, на меня кто поглядит? Тебя по матери берут, по отцу, а нас по тебе!

- Что? – спросила я, собираясь дать подзатыльник, и тут мать закричала тоже:

- Права Белёна! Права!..

Младшие сестрёнки дружно заревели, а мать продолжала:

- В доме живёшь, а о доме не думаешь! О себе об одной, бессовестная!..

Любимое у неё это было слово – бессовестная. Отвечать я не стала. Да что отвечать. Безмерная усталость навалилась разом, сковала во рту язык. Я дёрнула с гвоздя шубу и вышла за дверь. Шуба была когда-то взята у медведя, боровшегося в малиннике с дедом Ломком. И когда я легла в клетки и закуталась, показалось – обнял дедушка, погладил по голове...

Другая моя сестрица, родившаяся Белёне вослед, всю тянула за ней. Тоже прикладывала бодягу к щекам, чтобы жарче горели. И тоже фыркала на меня, если рот ничем не был занят. Морошка, впрочем, ей нравилась. И голубица, которую я носила из леса. И земляника, выдержанная в меду. Самый пакостный возраст: женское уже пробудилось, сил, как у годовалой телушки, а ума нет и в помине.

Меньшие были не таковы. Может, до времени. А может, не зря говорят люди – доброй души на торгу не прикупишь. Я уже засыпала, когда рядом шевельнулся Молчан и от двери дополз шепоток:

– Да спит она...

– Не спит, сопела бы, если б спала.

Они заспорили громче, и я подала голос:

– А ну, это кому там неймётся?

Сестрёнки мышатами брызнули вон, потом вернулись. Я села, раскрыла необъятную шубу:

– Ладно уж... Чего надобно, стрекозки?

А честно сказать, было мне тогда совсем не до них. Сидела всеми обижена и перед всеми виновна, сама себе не мила. Одного хотела: заснуть, про всех позабыть и меня чтоб все позабыли. И на вот тебе, бежит котёнок пушистый, катится колом, мурлычет, в ногах трётся доверчиво... не сапогом же его.

Малявки мои сперва хитро помалкивали, но я-то знала – не ночлежничать сюда забрались.

– Ну? – встряхнула я обеих и пощекотала сквозь шубу. – Почто спать не даёте?

Они залились, как два бубенца. Поняли, сестрица грозная не прогонит. Маленькая выглянула из шубы, как из норы, глазёнки блестели:

– Баснь расскажи!..

Ну, так я и думала. Я ответила тем же таинственным шёпотом:

– Какую вам, луковки?

Они потолкали друг дружку, потом разом выдохнули:

– Страшную!

А сами на всякий случай прижались ко мне потеснее.

– Жила-была девка, – тихонечко повела я дедушкину любимую баснь. – Звали её Пригляда. А была Пригляда красавица...

Младшая немедленно перебила:

– Как Белёна?

Я отмахнулась:

– Куда Белёне... Так вот. Пошла раз Пригляда с подружками сеять репу на дальней пожоге... Зимой озоровали там лютые волки, а водил тех волков зеленоглазый бирюк-одинец, а и не брали его меткие копыя, не язвили стрелы калёные. Даже заговором унять никто не умел. То-то Пригляда с девками страху набрались, пока дошли! Одни шли, без парней. У них там репу тоже сеяли раздевшись, затем чтобы земля приняла женскую силу и хорошо родила...

Сестрёлки крепко держались за меня в темноте. Только про волка к ночи и говорить, да что поделаешь, начала, надобно кончить.

– Стали они сеять, а страх тем отгоняли, что завели песню погромче. И вдруг смотрит Пригляда – идёт к ней из чащи добрый молодец и улыбается, а у самого на плечах плащ серого меха и глаза зелёными искрами посверкивают!.. Подружки как глянули, как завизжат, как наутёк порскнут!.. Пригляда за ними,

да трёх шагов не пробежала, обмерла с перепугу, ножки резвые подломились. Много ли времени минуло, открыла глаза – лежит себе никем не обижена и даже рубашкой прикрыта, а вокруг никого, а по всему-то полю волчьи следы... С той поры сделалась Пригляда задумчива. Поняла – полюбил её одинец, свататься приходил...

Наверное, я долго молчала. Младшая подёргала за руку:

– Не томи, Зимушка! Дальше-то что?

– А вот что. Ушёл и как сгинул, не видел его больше никто и не слышал. А санным путём заслал сватов жених богатый, Пригляду и сговорили, опомниться не поспела. Привезли её во двор к жениху, и только вошла, глядь – лежит под забором сер волчище, на шее цепь крепкая, а перед носом миска с помоями...

Старшенькая не выдержала, ойкнула. Младшая заползла мне на колени.

– Жених-то и говорит ей: потешимся, собак пуцу на него. Смолчала Пригляда, а сама в ту же ночь пробралась и ошейник с волка сняла, от жалости всю боязнь растеряла. Он руку ей лизнул – и скок через тын. Утром хватились, ан метель загуляла – какая ловля, какие следы! Добро, стали ладить свадебный пир. Пригляда уже и косу оплакала. И вот тут...

Девоньки мои дышать забывали от страха и любопытства.

– И вот тут, только хотел было жених Пригляду поцеловать, завыло за стенами, заплакало. Злые псы хвосты поджали, под лавками спрятались... Оттолкнула Пригляда немилую и как кинется в дверь, в самую заметь, в одной рубашечке браной, без рукавичек, без шапки...

Теперь носами хлюпали обе. Младшенькая всё же решилась:

– Ну, Зимушка, дальше-то что? Не замёрзла Пригляда?

– Мёрзнуть не больно, – сказала старшая рассудительно. – Как будто заснёшь.

Я покрепче прижала к себе сразу обеих, в точности так, как меня саму когда-то прижимал к груди дедушка, собой заслонял от страха и темноты.

– Бежала, бежала Пригляда... не стало ей моченьки, сапожки в снегу потерялись, платице об острые сучки изорвалось. Стала уже её метель укрывать пуховой периной, как вдруг сквозь сон слышит Пригляда, окликает её голос знакомый, отозваться велит. Собралась она с силами, крикнула, согнала смертную дрёму... Глядь, а над нею зеленоглазый стоит. Наклоняется, на руки поднимает...

– Это ей во сне приглязнилось? – спросила старшая.

– Нет. Въяве было.

Тут я подхватила сестрёнок вместе с шубой и пошла через двор. Они поняли, что басни конец, и дружно заныли:

– А потом что? Про свадьбу-то расскажи!

– Свадьбу вам, – я усмехнулась. – Я там не была, медов не пила. Знаю только, он ей сказал: подле тебя сердце оттаяло. Так-то вот, а теперь шасть на полати, да не топчите, негодные!

Даже не знаю, кто кого больше потешил, я сестрёнок или сестрёнки меня, кто возле кого больше согрелся. Я вернулась в клеть и, помню, подумала: а может, не так всё и плохо, не такая кругом печаль беспросветная? Я улеглась и сонно уже подумала: кабы мать мне уши не оборвала за такие-то сказки. Скажет ведь – сама вредоумствует, и малых туда же...

Молчан вскочил с низким ворчанием, когти скрипнули по берестяному полу. Я открыла глаза и услышала:

– Зимка, спишь?

Ярун. Молчан тоже узнал его и улёгся, вздохнув. Я недовольно оттолкнула:

– Сплю!

– Ты вот что, – сказал Ярун. – Тут при мне Соболёк, ну... который лаял тебя. Прощения просит.

Я спросила во тьму:

– Сам выдумал или подсказал кто?

За стеной завопили, кашлянули. Ярун и вправду был не один. Я сказала злей, чем хотелось бы:

– Дадите, что ли, поспать!

Я лежала и думала. В детстве мне мстилось – у каждого есть Тот, кого он всегда ждёт. Потом подросла, поняла: не у каждого, лишь у немногих. Спроси семерых, шестеро брови сведут – что ещё за диво неслыханное? Моё вешнее солнце было бы им огоньком на болоте, ведущим в трясину с проторённой, надёжной тропы. А мне их ясная жизнь была вовсе не жизнью – сном тяжким вроде того, что мучил Злую Берёзу... Не могу лучше сказать.

И ещё. Хороша баснь, покуда баешь её впотьмах малым сестрёнкам. А наяву поди так поживи! Моей, может, Пригляде всех меньше досталось. Зря, что ли, в любой басни реки огненные вброд переходят, сапоги железные стаптывают, короваи медные изгрызают?.. Так-то вот. Торной тропкой и легче оно, и много бесстрашней. И пальцем в тебя не тычет никто.

Не таких, как я, гнули, смиряют и меня. У самой разума неостанет – стрыя-батюшку призовут, чтобы сломал. Усовестят хоть вот за Соболька. Дому подпора нужна, роду продление. И через двадцать лет, в серый пасмурный день, я с трудом вспомню нынешнее: да было ли, вправду кого ждала? Радугу видела впереди?..

Что-то во мне восставало, отчаянно спрашивало – неужто вотще легла в душу дедушкина давняя баснь, а нынче всплыла, сама излилась глупым сестрёнкам?

И, может, в них ещё когда прорастёт?.. Зачем живу, как не затем, чтоб стереть пудовые железа и лесами, гиблыми топями пробиться к Тому, кого я всегда жду?..

Мать бессовестной меня называла. Правильно называла. И Белёна права. Я за басню вздумала потянуться. А о доме, о сёстрах, о матери родившей...
Бессовестная и есть.

Я обняла Молчана, и он лизнул меня в щёку, утирая бегущие слёзы. Хваталось деревце корнями за бережок, клонилось, остаться не могло и падать боялось, а волны знай подтачивали, подтачивали...

8

Вот так кончилось лето. А потом чередой пошли туманные дни, когда трава ещё зелена и свежа, но в воздухе реет предчувствие инея. Были, конечно, ослепительные золотые рассветы, но редко. Осень выдалась дремучая, слякотная и кромешная. Только ведь и тут у меня всё было не как у людей: мне нравился заунывный осенний дождь. Нравилось сидеть у ласковой каменки, слушая шуршание и топоток в пожухлой траве на крыше избы. Задумаешься, глядя в огонь, и покажется: это собрались к теплу маленькие существа, которым мы оставляем краюшки у родника, у скрещения троп, у края болота... Невольно помстятся озябшие лешачата, жмущиеся напоследок к жилому углу. Тоже страшно небось засыпать на целую зиму. Лесная сила крепче нас помнила времена мёртвого солнца, когда год за годом не приходила весна... Сбудется ли на сей раз?

А всё-таки славно было возвращаться домой на исходе хмурого дня, чавкая промокшими поршнями и неся отборную – ягодка к ягодке – красавицу клюкву. До сего дня вижу тучи, мохнатые, плывущие по самой земле, по окутанным мглой вершинам деревьев. Вижу взъерошенный загривок Молчана и чую, как медленно крепнет вдали добрый запах натопленного жилья...

Злая Берёза проскрипит сорванным голосом, тяжело качаясь под ветром, дующим с моря. Мать вскочит и зоухает, порываясь снимать с меня неподъёмный кузов и на ходу выговаривая: дитяtko неразумное, ведь надорвешься когда-нибудь, Род

тебя сохрани!..

А я молча спущу ношу на пол и не подам вида, хотя бы на плечах ещё с прошлого раза чесались кровоподтёки. Вытащу неразлучный топорик, спрячу под лавку. Отожму одежонку, натяну сухую рубашку да вязаные копытца и усмехнусь, глядя, как лакомки-младшие подсаживаются к кузовку, запускают пальчики под плетёную крышку...

Боги требовательно взирали на нас со своих мест в красном углу. Закопчённое дерево хранило прикосновение прадедовских рук. Богам хорошо было в нашей избе, подле честного печного огня. Грелся меж ними и мой Бог, доверчиво глянувший когда-то в глаза мне из сухого сучка под обжитой ёлкой... Я только чуть помогла ему, выпустила из наплывов коры. Теперь он сидел у печи, когда я была дома. А если шла в лес – отправлялся со мной в кузовке, у правого плеча. Хоть за море с ним.

В тот год всё было по-прежнему и всё-таки не вполне. Сказывала я про спесивого молодца, в лужу споткнувшегося? Ведь нашёл в конце концов виноватого, сыскал, на кого свалить неудачу. Удивительно было бы, если бы не сыскал. А ещё удивительней, если бы виноватой вышла не я.

Стало быть, я пугала Мстивоя Ломаного пернатой стрелой по собственной дури, а не по дядькину слову. А если по слову – могла бы сама прежде смекнуть, что с того будет. А уж вторая-то моя стрела – в родные ворота!.. Что говорить. Всё припомнили: гордость неумерную и то, что спуску никому не давала. И то, что горазда была мечтать незнамо о чём, лишь о роде не думала, никак замуж не шла.

Созревший нарыв к худу ли, к добру, а должен был прорваться...

Наступила зима.

В один из морозных коротеньких дней, когда солнце едва раскрывало над соснами красный заспанный глаз, мы с матерью и старшей дядькиной женой растворили хлевы и вытолкали на усталый соломой двор всю живность: коров, коз и свиней. Длиннорогий чёрный бык, сын свирепого тура, упёрся было, чуя мороз, заревел, ударил копытом. Пришлось угостить его хлебцем, шепнуть в

мохнатое ухо, шлёпнуть легонечко, выпроваживая во двор. Кроткие бурёнки вышли доверчиво, зная – никто не обидит. Белый пар пошёл из влажных ноздрей, за клубился над спинами.

Ускочив на малое время в избу, я вновь изникла чудовищем: в шубе мехом наружу и с лицом, намазанным сажой. Я тихо, цепко пошла вокруг двора, посолонь обходя сгрудившуюся скотину и пряча за спиной верный топорик. Я была рысью, напрягшейся перед прыжком. Я смотрела зорко, как на охоте, и не сводила глаз с туманного пара, тянувшегося струйками вверх. И, как на охоте, ничто не избегало моих глаз. Я отчётливо видела гибкие серые тени, мелькавшие, тщетно пытавшиеся ускользнуть. Это скотьи немочи и хворобы, те, что мухами вьются подле живого, метались в испуге, вытянутые из хлева на ядрёный чистый мороз...

Мудрые пращурьы знали неколебимо: нет спасения нечисти от топора в женской руке. В обычные дни меня совсем не хвалили за то, что носила его, но когда веселятся или свершают обряд – всё наизнанку. Я уже и не помнила, на каком году впервые сподобилась оберегать скотину зимой, однако после того мне не было смены. Не оплошаю ли ныне?

Я трижды обошла двор. Струйки пара густели, завиваясь колечками. Я стискивала топориче до онемения, до боли в ладони. Я ждала наития, и Боги не предали, сошли ко мне и взяли мои руки в свои... Так охотник целится в бегущего зверя. Кто подсказывает ему, его пальцам на тетиве?

Топорик сам собою взлетел из руки и понёсся, вращаясь, сквозь облако пара, сквозь самую гущу теней. Отчаянный крик, неслышимый обычному уху, перепугал сонных Леших в ближнем лесу, навеял страшные сны. Просвистев над самыми коровьими спинами, топор оставил в облаке рваный крутящийся след и со стуком врубился в стену хлева. Я могла расколоть сучок в бревне за двадцать шагов, – мать, правда, говорила, нечем тут хвастаться. Я сдвинула шапку и утёрла лицо снегом, смывая жирную сажу. Белый пар всё так же вился над скотиной, но теперь этот пар был светел и чист и легко поднимался кверху, прямо в морозную дымку небес. Никто больше не прятался в нём, не грозил нашим кормилицам, не разевал над ними ядовитую пасть... Если уж захворает какая, то разве прибудной, пришлой болезнью. Да и та не скоро проймёт.

Даждьбог немигающим глазом смотрел из-за вершин, а во мне играла смелая, праздничная, задорная сила – как всегда, когда преодолен труд и мнится, будто

иначе быть не могло, и хочется посмеяться над собственными сомнениями и страхом, и даже чуточку жаль, что испытание уже позади: повторится ли ещё раз такая победа, такое ощущение крыл за спиной?

И столь было мне хорошо, что, пожалуй, я нисколько не удивилась бы, если бы по снегу вдруг проскрипели незнакомые лыжи и вышел из леса... через старое поле, мимо Злой Берёзы...

– Я в баню с тобой идти застыжусь, – хихикнула Белёна, когда я лаской и уговорами заводила в стойло быка. – У тебя борода вырастет скоро...

Румяные щёки и нос её были густо сдобрены топлёным гусиным жирком – не приведи Рожаницы, прихватит морозом, вдруг шелушиться начнут. Мать не одёрнула злоязычную, не шлёпнула по губам. Она опять была с ней согласна. Даже шагнула вперёд, приготовилась защитить от лютой сестры. Бедное дитячко: ни тебе сватов принимать, ни тебе на беседы, принарядившись, пойти, пока я, старшая, не сговорена долой со двора...

Нет, не выйдет никто из лесу, через старое поле. А и выйдет, кабы не случилось с ним здесь чего недоброго. Может, об этом и говорила мне Злая Берёза, да я понять не умела. Крикни мне кто тогда – убегай, сейчас в дерево превратишься! – я бы не пошевелилась.

С мужем-берёзой рядышком встала бы, протянула ветви, заплакала...

Вот так, а только что думалось – шагну шаг и полечу...

Мать потом меня отругала. Нечего нос воротить, когда все люди радуются, ну и что, что Белёна, Белёна правду сказала. Или, мол, правда уж все глаза исколола?..

Вечером собрали жертвенный пир, и я сидела на том пиру и молча жевала коровай, который перед тем сама испекла. Пышный, ласковый коровай был горек во рту, но Богов обижать не годилось. Нелегко без них людям, худо и Богам без людей. Что голове без плеча, что телу без головы...

Потом я часто возвращалась мыслями к той вечерке и припоминала, как поглядывал на меня стрый-батюшка Ждан, сидевший во главе пира, на резном прадедовском столе. Моя ссора с Белёной не минула его глаз. Я ему была братучадо, Белёна – роженое детище. Он долго не смел меня поневолить, беда, коли дедушка осерчает, приснится нахмуренным, а то замкнёт чрево новой жене... Но где же было смекнуть, что именно тогда он решил: ох волю девка взяла, будет уж, пора и крылья подрезать!

9

У каждого случаются дни, когда ну ничего не выходит. Срывается с крючка красавица щука, почти уже вынутая из воды, клёкнет пышное тесто, из рук падает любимый горшок, и хорошо, если не с горячими щами. Невольно покажется, будто желают тебя не то чтобы сгубить – донять, довести до злых слёз... предупредить? В прежние времена, когда мир был моложе и краше теперешнего, люди лучше умели разгадывать, о чём вещали им из-за черты.

Я сидела на пороге клетки, сунув ноги в сапогах тёплому Молчану под бок, и костяным стругом выглаживала древки для стрел, – это дело у меня никогда ещё меж рук не валялось. Стружки лёгкими пушинками опадали на снег. Иногда я нарочно роняла их на чёрный пёсий нос. Молчан утирался лапой, не просыпаясь.

Я думала о варягах и об их Варяжской земле... О ней у нас всегда говорили – за морем, хотя туда можно было доехать горой, сухим путём. Не то что в Северные Страны, про которые толком не ведал никто, остров или матерая суша. За морем – потому, что к варягам и от варягов всегда ездили на кораблях, минуя густые береговые леса, болотные топи и жадных лихих людей... Море, конечно, тоже шутило тяжкие шутки, но мореходы в Варяжской земле рождались отменные, умели с ним сладить, мы сами в том убедились.

Племён там жило не меньше, чем в наших лесах. Вождь Мстивой, Славомир и половина людей были вагиры, на их языке это значило – мужественные люди. Вагиры сидели на западе Варяжской страны, рядом с датчанами, и люди рассказывали – жестокие дела порою творились там, в сумезных лесах... не

вдруг объяснишь. Ну, как если бы весь стала резать корелов, а корелы – словен, и не разобраться уже, кто первый обиделся. Там, в Старграде, был прежде Рюриков стол.

Как звали грозного князя, знали немногие побратимы, верные блйжники, мешавшие кровь в серебряной чаше. Всем прочим хватало имени его рода. А род восходил к яро-белому Соколу, да не простому – к самому Рарогу, Птице Огня!..

Сто лет назад ни один человек не смел сказать своё имя, чтобы не попасть в лапы беде, мало ли кому случится подслушать. Теперь это касалось больше вождей, не зря жаловались старые люди, мол, всё измельчало. Вот и варяг-воевода открыл нам лишь прозвание – Мстящий Воин, Мстивой. Дознайся мы его тайного имени, чего доброго, вздумали бы порчей испортить, да не его одного, он-то сам мало чего боялся – дружине не было б худа...

...А ещё в Варяжской земле жило племя, рекшееся лютичи, или вильцы, – не надобно толковать, и прозвали, скорее всего, напуганные враги. И ещё иные, не тише. И от века ездили к нам, избы ставили в Ладоге и окресь... В Ладоге, если не врали, у всех вятших людей была за морем родня, своя кровь. Кого же было позвать князю Вадиму в подмогу на северных разбойников-мореходов, как не другого славного морехода – князя варяжского... и притом самого словенина вполовину, по матери...

Я вскинула голову, когда ко мне подошла мать. Накануне я принесла несколько зайцев, а нынче на весь двор пахло печевом – не пирожка ли надумала поднести? Успело, помню, мелькнуть: и впрямь скоро вырастет борода, девке место в избе, во дворе – мужская работа...

– Беги, дитяtko, – проговорила мать торопливо. – Стрый-батюшка ждёт, велит поспешать.

Вот те и пирожки, подумала я, поднимаясь. Может, один ухвачу, когда возвращусь. И зачем бы это я нужна была дядьке. Не иначе решил лося добыть. А не то пошлёт нас с Молчаном за волком на шубу, на одеяло. Уже обметая ноги в дядькиной влазне, смекнула: для такого у матери был слишком значительный вид. А может, сани собрали, везти оговорённое в Нетадун?.. Ну, а я тут при чём? Ладно, скоро узнаю.

Я толкнула дверь и вошла. Дядька за что-то выговаривал старшему сыну, и я, чтобы не мешать, юркнула сперва в женский кут.

Там у светца сидела с шитьём самая младшая дядькина жена, пригожая и молоденькая, на три лета младше меня. Она подняла глаза и улыбнулась робко и ласково. Мы баловали её и любили, но меньшица в семье всегда вроде чернавки, уж во всяком случае пока не родит первого сына. Не при нас это заведено и даже не при наших отцах, не нами окончится.

Дядька взял её совсем недавно, нынешней осенью. Пускай, мол, все видят – вождь рода не одряхлел. Вождю нельзя одряхлеть: кто становится равнодушен к жене, уже больше не может дать своим охотникам удачу в лесу, земле – плодородие... А умрёт – юная жена отойдёт старшему сыну, ведь она ему не мать.

Теперь её живот понемногу круглился, и в улыбке светила тайная гордость: кто угоден Богам более женщины, несущей в себе новую жизнь!

Дядькина большуха обнимала её за плечи, по-матерински нашёптывала на ушко. Я под села с другой стороны, и меньшица прижалась щекой к моей щеке, холодной с мороза:

– Зимушка... скоро счастлива будешь!

Моя рука, потянувшаяся к шитью, остановилась...

– Зимка! Где ты там! – окликнули из мужского угла.

Я не помню, как поднялась и обошла печь. Хотела облизнуть треснувшую губу, но язык был шершавым.

Дядька Ждан тогда проводил свою сорок шестую осень, и к его волосам прилипло уже порядочно снега. Был он крепок и кряжист. Здоровенный женатый сын стоял перед ним с малиновыми ушами, не смел поднять глаз.

– Сговорил я тебя, беспутную, – сказал дядька и пристукнул кулаком по колену. – Благодарю!

...всё, мёртвым голосом сказал во мне кто-то другой. Вот и всё.

– За кого, батюшка?.. – спросила я еле внятно, так, что дядька даже подался вперёд, прислушиваясь, что лепечу. Девки редко отваживаются прямо спросить – за кого. Убегают с жарко и сладко колотящимся сердцем и лишь после, окольными путями выпытывают, кто суженый – тот ли, с кем миловались, с кем у святых раки о любви толковали на великом празднике, в короткую летнюю ночь?

– За Соболяка, – ответил дядька сердито. – Званко Соболек за тебя, перестарку, вено даёт. А впору бы и с приплатой нос отвернуть!

Я не знаю, может, я действительно благодарила. Во всяком случае, ни слова поперёк не сказала. А что тут скажешь, если прабабки мои поколениями благодарили старейшин и радовались, что не обошла судьба, что всё будет как у людей...

Молчан вскинулся на дыбы, заглядывая в лицо. На всё готов был ради меня и скулил, не в силах помочь. Потом бросился к клетки и выволок за ремни мои лыжи. Думал – в лес побегу, разгонять тоску и обиду. Прежде я часто так делала. Теперь, верно, даст нам Соболек полесовничать... Вот ведь чья воля будет теперь надо мной! Соболяка!.. Я вспомнила, как он метал нож в Злую Берёзу. Покорюсь – и сама переломлю в себе что-то, чему уже не срастись. А не покорюсь... У нас так об умерших говорили: ушёл из рода совсем!

Негнущиеся ноги перенесли меня через двор – к избе, потом в избу. Сестрёнки смотрели молча и так, словно в первый раз видели. Верно, мать рассказала. Младшие поняли только, что басней им теперь не дожидаться и берестяных кукол чинить будет некому. Зато Белёне обещан был праздник, сияла, ровно кто загодя песочком начистил. А над их головами, на гладких брёвнах стены, на деревянных гвоздях висел дедушкин славный подарок: мой лук.

– Вот девку вашу, стрелять мастерицу, я сам первый бы взял...

Давно произнесённые слова отдались так ясно, что я едва не оглянулась, ища говорившего. Славомир. Славомир и варяги. Братья названные друг другу и всем,

кто в отроках перемаётся и в дружину войдёт... Вот, стало быть, какое решение с лета крепло во мне, чтобы отлиться в ясную мысль только теперь.

Молчан подвывал и скрёбся за дверь. Мать проследила мой взгляд.

– Доченька, – сказала она и опустилась на лавку, прижимая руку ко рту. Я не ответила.

Я притащила кузов и раскрыла сундук, где зачем-то копила приданое – вязаное, тканое, шитое. Сундук был устроен по-весски, кадушкой, не пропадёт и в пожаре, повалил на бок да выкатил... а хоть бы и пропал!

Я безжалостно выкидывала на пол добро. И наконец вытащила два узорчатых платья. Остального не жалко, но с ними, хоть режь, разлучиться я не могла. Я их шила с мечтой показаться Тому, кого я всегда ждала... Званко Соболек – выговорить-то смех!..

Когда платья спрятались в кузовке, Белёна тоже что-то почуяла и взвизгнула, подхватываясь на резвые ножки:

– Вот батюшке расскажу!

А была ведь и ласковой, и любопытной, подумала я устало. Была ведь...

– Сиди, – приказала я ей. Не особенно громко, но её приморозило к лавке. Умненькая, она ещё смекнёт свою выгоду и вдоволь пороется в сундуке. Но это после. Теперь пускай посидит смирно да помолчит хотя бы со страху.

А кто-то другой во мне продолжал трезво наблюдать со стороны, и вот что удивительно: сколько уже раз я мнила себе крик и плач, через которые надо будет ступить, а то и погоню... и как без затей всё совершилось, когда срок наступил. У меня хватило рассудка удивиться и ошалело подумать – а точно ли надеялся дядька сбыть меня за Соболяка? Может, на то и расчёт был, что из рода уйду?

Я собиралась, как на охоту, вся разница – два платья на дне кузовка, да мать не остерегала уходить далеко, а младшие не упрашивали принести из леса

белочку... И ещё не поздно было остаться. Или правда, что ли, наведаться в чашу, побродить денёк-два – и назад... к Соболюку...

Мать смотрела на меня молча, беспомощно обмякнув на лавке. Наверное, тоже толком не верила, что я уйду насовсем. Из рода навек, за край, откуда не возвращаются. Глаза видели, а сердце не понимало. Беспутное, а всё же дитё, как оторвать от себя, как навсегда отпустить? А не отпустить как? В первый раз я не спрашивала позволения. Я была ещё здесь – но уже шагнула из круга, где властно её, матери, слово, и печной огонь меня больше не грел. Без меня он не погаснет. Все это чувствовали. Я взяла своего Бога и посадила под плетёную крышку.

Уже одетая, в меховых штанах, с луком у левого бедра и с кузовом за спиной, я наклонилась к матери и обняла:

– Белёна у тебя теперь старшая.

Вот когда она, вскочив, всплеснула руками, заплакала, и я незыблемо поняла, что никуда не уйду, не смогу бросить её, и Соболек показался не столь уж немилым, подумаешь, Злая Берёза, чего не взбредёт заждавшейся дуре...

Мать подхватила кругленький лубяной короб с пирожками, высыпала их, румяные, в тряпицу, стала завязывать неверными, противящимися руками. Дитятку для дальней дороги. Значит, уйду. Я расцеловала сестрёнок, всех четырёх, и даже Белёна смотрела снизу вверх испуганно и чуть ли не виновато... Ничего. К завтраму позабудет.

Куда побежать, если не на дедушкину могилу? Кому другому поплакаться, у кого ещё совета спросить?..

Буевище было устроено опричь жилья, нарочно в таком месте, чтобы вела тропка и к нам, и к кузнецу, и к иной дальней родне. Когда садились здесь жить, нарочно сговаривались, где станет первая почитаемая могила, сам пращур назначил сынам, где ставить погребальный костёр, где сыпать курган. Пока нет могилы, не знают люди земли и земля не знает людей.

Я долго сидела в холодном снегу среди голых рябин... Летом всё по-другому, летом вокруг звенит весёлая жизнь, и мстится – мёртвые чутко дремлют в земле и сквозь дрему улыбаются отзвуку праздника... Что там зимой, когда спят крепким сном Лешие, Болотники и Полевики? Наверное, мёртвые тоже пробудятся ближе к весне, когда во всех дворах загорится высоко наваленная солома, обогреет слетевшиеся тени...

Рядом с дедушкой лежал и отец, но отца я помнила плохо. И думала: что скажет дедушка, услышав, как я сама отреклась от печного огня? Из рода извергнулась?.. Отзовётся ли, пожелает ли признать внучку любимую?..

Шепчущая позёмка бежала по моим сапогам, снежинки застревали в меху, ложились на сдобные щёки несъеденных пирожков... Мёртвые любят, когда живые веселятся, едят и пьют у могил, но я в этот раз не могла куска откусить. И мыслила – оттолкнул дедушка, осерчал, отвернулся... и замело тропинку домой, совсем замело, больше не отыскать.

Лечь бы тут да замёрзнуть! В баснях такие вот девки, отчаявшись, гибли всеми покинуты. Нет уж. Не будет, как в басни. Я от рода отказывалась – или род от меня, как тогда перед варягами? Я кривым сучком была – или всё дерево криво росло?.. Я поднялась, глянула на низкое солнце... Четыре морских перехода, сколько это, если пешком? Солнце опускалось за море, мы думали раньше, там мёртвые жили, за морем. Я видела берестяной лист, разрисованный Мстивоем для дядьки. Два веских охотника, отчаянные ребята, видели Нета-дун в прошлом году. Своим путешествием они хвастались до сих пор.

Молчан заранее поджимал переднюю лапу, готовясь оберегать её в далёком пути. Он не предаст; пустится со мной за край света и будет идти, пока не сотрёт лап до костей, пока не надсадит верного сердца, утонув в зыбучем снегу... да и в Нета-дуне как ещё примут, суров воевода, скажет, только пса не хватало... Я опустила на корточки. Хромой волкодав ткнулся носом мне в щёку и зажмурил глаза.

– Не ходил бы, Молчанушка... – давясь слезами, попросила я шёпотом. – Я вернусь за тобой... на корабле приплыву...

Он понял меня. И поверил. Он всё понимал и всегда верил мне. Я кое-как поднялась и пошла прочь, не смея повернуть головы. Я знала – Молчан не сводил

с меня глаз. Лыжи с размеренным шорохом несли по ровному полю и в то же время как будто вниз с немыслимой кручи: воеет в ушах, летят за спину кусты и деревья, а сердце мрёт ужасом и ощущением то ли падения, то ли полёта, и не остановиться, не повернуть, не повременить... Не могу лучше сказать!

Возле самого леса я всё-таки оглянулась... Молчан нёсся по моему следу, пластаясь над снегом, выдёргивая себя из пухлых сугробов... и столько обречённой, отчаянной мощи было в каждом его скачке! Водилась у нас с Молчаном такая забава: я бежала, он догонял, опрокидывал, мы боролись. Может, он и теперь хотел убедить меня и себя, что всё было игрой...

Вот налетел, взметнулся в прыжке... Я не стала противиться. Молчан мигом сбил меня с ног, вдавил в снег... притворно зарычал и вдруг заскулил, заплакал тоненько, жалобно, как больной щенок, которого я когда-то выпаивала молоком и баюкала, нося по двору на руках...

Я встала, стащила шапку и отряхнулась.

– Иди дом береги, – ровным голосом сказала я Молчану. И чего мне это стоило, ведала только Злая Берёза, всё ещё смотревшая на нас издалека. Молчан поглядел мне в глаза, опустил хвост и голову и на трёх лапах заковылял прочь.

Всё прежнее кончилось безвозвратно; меня ждал неведомый грозный мир за пределами рода и неведомая страшная жизнь. Для неё следовало умереть и родиться вновь подобно младенцу, зарёванным, одиноким и голым.

10

Всё-таки не удалось мне тогда совсем обронить разум, натворить неведомых дел. Лыжи сами собой понесли меня через болото, и как же я мчалась! Полночные звёзды только ещё разгорались над головой, когда в морозном воздухе снова повеяло дымом, а чуть погода открылся на чистой поляне приземистый веский дом.

Звонкие лайки вылетели навстречу из-за косого забора. Обнюхали, узнали, обрадовались... удивились, недосчитавшись Молчана. Я ни разу не приходила сюда без него.

Женщина, сидевшая на полу, обернулась ко мне. Словенская мать Яруна давно переняла веский обычай: не знала ни лавок, ни скамей, стряпала и шила летом на половичке, зимой на тёплых шкурах у очага. А чтобы не продуло летящим в дверь сквозняком, надевала вескую же плотную понёву, сотканную не из ниток, а из полосок тряпья.

Она хотела о чём-то спросить, но глянула в лицо и отступилась. Я поклонилась ей, потом отцу и младшим братьям Яруна, вязавшим сеть по ту сторону очага. Мать всем здесь распоряжалась, мужчины редко перечили. Так было раньше у нас, так поныне велось во всех веских родах. Иногда я завидовала, но потом вспоминала о весинке, утопившейся накануне собственной свадьбы. Славным охотником был жених и к тому же владел даром вещего слова... но вот не полюбила и сердца своего не предала. Смерть предпочла сытой жизни с немилым... Ярун мне сказывал, как Линду, его отец, долго обхаживал будущую свекровь, без счёта дел переделал, без числа подарков поднёс. И добился-таки, что словенская девка пошла за него, родила сыновей... был ли у неё Тот, кого она всегда ждала?

Мальчишки мигом стащили с меня меховой полушубок, усадили к огню. Я хотела сказать, что пришла к Яруну, но не сказала – как села, так и уснула с горячей чашкой в руке.

Уснула – сказано плохо. Я то погружалась в тёплое молоко, то вскидывалась в ужасе – мерещилось, будто проспала урочный, условленный час и ничего уже не поправить. Мне потом говорили, я открывала глаза и лепетала бессвязно. Сама я не помню. Правду сказать, добрым людям было чего испугаться. Они уже начали думать, не случилось ли у нас какого чёрного худа. Потом догадались посмотреть мой кузовок и смекнули, в чём дело.

Ярун ввалился в дверь весёлый и шумный и с полными салазками рыбы. Я смутно обрадовалась ему и тут же канула в настоящий глубокий сон. Только почувствовала, как он на руках перенёс меня в уголок и заботливо уложил, накрыв одеялом.

Он разбудил меня поутру. Подобрался ползком, погладил по щеке. Я проснулась, всё вспомнила и разревелась. Ярун щекотал меня мягкой бородкой, нащёптывал ласковые слова. И наконец я собралась с духом и рассказала ему, как дядька надумал отдать меня за Соболяка. Рассказала о поманивших меня речах Славомира, за которыми я ударилась из дому, как за неверным эхом в лесу...

- Вон оно как, - протянул Ярун, выслушав мою повесть. И я поняла, что не ошиблась, притекши к нему за подмогой. Он сказал:

- А я у матери тогда ещё отпросился. Возьмёшь, что ли, с собой?

Люди сказывали, в стародавние времена молодые ребята женились на собственных сёстрах, радея пуще всего о крепости рода. Иное дело теперь: непременно везли невест из чужой - за лесом, за топью - деревни, если не из соседнего племени. Ветхие деды долго трясли белыми бородами, ругая беззаконные времена. Не только ведь девок - искусниц, разумниц, славных хозяйшек - стали на сторону отдавать. То тут, то там и всё чаще парни-охотники, гордость семьи, челом били мир посмотреть, себя показать на стороне. И попробуй такого решительного не отпусти. Не в погреб же замыкать ключами тяжёлыми. И шли, прибивались к ватагам отчаянных вождей, ставивших городки по озёрам, по торговым путям, у порогов судоходной реки. А если наведывался в селение сам такой вождь вроде Мстивоя Ломаного - вовсе напасть!..

Мать Яруна заплакала, когда утром её старшенький снова завёл речи про Нетадун и варягов. Она-то надеялась, что полгода времени и Славомиров кулак повытрясли из него дурь... Ан не сбылось.

- Я на лодье летом приеду, - ластился надёжа-сынок. - Гостинчиков привезу...

Я помалкивала, не встречаю. Я думаю, добрая женщина и так сожалела, что я накануне не заплутала в лесу, не потеряла дороги - явилась прямёхонько в дом, налетела сманивать ненаглядного. Да, провожали Яруна совсем не так, как меня. У меня засвербило в носу, когда мать стала спрашивать, кто прогонит теперь шатуна и лютого волка, кто вспашет пожогу, кто соберёт убежавших в лесную чащу коров? Раньше, мол, отец мог, да состарился... - тут я покосилась на румяного русобородого крепыша, - младшенькие малы ещё, а она, бедная,

совсем скоро ослепнет, глаза ясные выплечет...

Ярун слушал смиренно, опустив буйную голову. Вряд ли мать в самом деле пыталась усювестить его напоследок. Прощальные речи для весина – что для нас вышитое полотенце, которым веют вслед уходящим: пусть гладким полотном стелется дорога, пусть спасёт путника любовь оставшихся дома... Вот так, и хороша б я была, начни я встравать.

Мать Яруна сама собрала нам в дорогу лепёшек, замороженных хитро: поддержишь немного на палочке над углями костра – и будут как из печи. Сама приговорила во дворе наши лыжи и вдруг, встав на цыпочки, совсем по-словенски обняла нас обоих за крепкие шеи.

– Зимушка, – выговорила она, – спасибо тебе: не один пойдёт сыночек мой несмышлёный... Будь же ему ласковой посестрицею, а он тебе – побратимом...

Сама сняла с его пояса двух бронзовых уточек и передала мне. Ярун расплылся в довольной улыбке и крепко хлопнул меня между лопаток: сестрёнка. Я чуть промедлила от неожиданности, потом разыскала блестящий, о четырёх загнутых лучах, солнечный крест и вручила Яруну. Теперь в его доме меня будут встравать как кровную дочь. И Ярун шагнёт в мою избу и сядет к столу без приглашения – сын! А пойдут свои дети – и тоже будут роднёй, и если случится меж ними любовь, так разве что братская.

...Был у меня, правду молвить, ещё оберег, только не женский – знамя Перуна, громовое колесо... Но то память дедушкина, я её носила у тела. Я её не отдам. Никому. Даже и брату.

Отец Яруна и младшие между тем толпились возле, и каждый таил за спиной прощальный подарок. Увидев, что совершилось над нами, мальчишки пустились в дом: мелюзга вприпрыжку, подростки по-взрослому вразвалочку. Вернулись и одарили нас поровну. Нет, как бы ни плакала мать, она и без первенца оставалась что за стеной. Самому старшему далеко ещё было до жениховства, но ни один не боялся заночевать в зимнем лесу. Ярун обнял отца, поклонился матери в землю. Потрепал по меховым шапчонкам братишек. Строго прикрикнул на лаек, вертевшихся и визжавших у ног... И пошли мы с ним со двора.

Псы чуяли разлуку, их не обманешь. Они долго бежали за нами по утреннему скрипучему снегу, заскакивали вперёд, глядели в глаза. Ярун пробовал уговаривать, потом сел на корточки и каждого расцеловал. Выпрямился и рявкнул на неслухов уже во всё горло. И отвернулся, скрывая дрогнувшее лицо, проводя вышитой рукавицей по запорошенным снежной пылью глазам... Прощай, дом родной, прощайте и вы, колокольчики знакомого леса!

Баснь вторая

Гнездо-городок

1

Опытные люди сказывают: морской переход – это путь корабля за полсутки под парусом в лёгкий летний денёк. Или на вёслах, когда гребцы сидят по одному и не шибко торопятся. Измерять путь в морских переходах – почти то же самое, что в шагах или ещё в стрелищах. У одного ходока шаг широкий, у другого короче. У одного стрелка лук тугой, у другого помягче. А всё равно скажи хоть кому: два полёта стрелы! – поймёт, не запутается. Так и для мореплавателя морской переход.

Сознаться по совести, в начале пути я всё время чего-то ждала. Я знала – именно отсюда, с полудня, явились когда-то прадеды прадедов, а далеко-далеко стояли могучие города и шла своя жизнь куда гуще и расторопнее нашей. Что сделаешь! Слишком привыкла всё мерить меркой нашего рода. Саму Землю помимо воли мыслила кругом в несколько дней пути, посередине которого горел знакомый очаг и стояла Злая Берёза... Минуешь невидимую черту и как раз угодишь прямо в незнаемое – как по снежной равнине в пасмурный день, когда не видно следов и нельзя разобрать, доколе длится земная твердь и где уже небо!.. Оттого мнилось, не к людям идём – прочь от людей, и мерещилась за каждым холмом лешая изба одноглазой праматери, с незапамятных пор хранящей грань между мирами умерших и живых...

Мы старались не слишком удаляться от берега, чтобы ненароком не проскочить варяжского городка. И беспредельное Нево, рано схваченное в ту зиму торосистым льдом, как будто шло вместе с нами, показываясь меж кудрявых, седых от стужи деревьев. Заснеженная пустыня, дремотно-синяя поутру, нестерпимо яркая в полдень и тревожно-малиновая на вечерней заре... Она пугала, внушая робкой душе спрятаться, попятиться в привычный лес... она и притягивала, манила преодолеть и взглянуть своими глазами, какие чудеса живут на том берегу. И есть ли он, берег тот!

В праздник Зимнего солнцеворота мы с Яруном сидели в снежной норе, слушали посвист лихой пурги и стон леса, зыблемого до промёрзших корней. Мы больше молчали. Ярун, любивший красно поговорить, лишь однажды начал занятную повесть о недавней рыбалке... Но помянул милого меньшого братишку и смолк, не кончив рассказа. Не лежало сердце болтать.

Дома теперь было веселье... Славные дни, когда гасят прежний огонь и добывают новый, живой, никаким безлепием не осквернённый, когда жгут этим огнём корявое, похожее на змея полено-бадняк во славу Перуна, вновь спасшего Солнце, и выбивают искры из горящего бадняка, чтобы плодилась скотина... Сумежные дни, когда мир пытается возродиться вместе с огнём и стать лучше, чем был, и люди желают друг другу только добра и с нетерпением ждут первого гостя: придёт удачливый человек – целый год будет дому удача... Ничейные дни, когда всё наизнанку, когда натягивают мохнатые шубы, скрывают лица личинами одна другой хуже и идут со двора во двор, топоча перед дверьми и грозно требуя от имени давно умерших пращуров:

– Выносите, хозяин с хозяйкой, доброе угощение, а не то сына или дочь с собой заберём...

Обижать пращуров не хочется никому: осердятся мёртвые – не будет живым ни урожая, ни здоровых детей. Щедро падает в распахнутые мешки снедь к священной братчине – пироги, масло, сыр, калачи...

Много позже, когда нам с Яруном настала пора вспоминать своё путешествие – оказалось, в те дни, каждый порознь, оба мы ждали: вот стихнет метель, и другой, глядя в землю, тихонько скажет – вернёмся, а?..

Я как следует поверила рисунку и рассказам Мстивоя Ломаного, только приметив в лесу знаки близкого людского жилья. Помню, больше всего нас удивило, что здешние насельники не пытались скрыться в чащобе от постороннего глаза, не страшились выдать себя недобрым гостям. Однажды утром мы нашли родничок, заботливо расчищенный, обложенный камешками и, может быть, поэтому никак не уступавший морозу. Родничок звенел весёлую песенку, кувыркаясь, выбрасывая мелкие пузырьки, а на низкой ветке над ним висел берестяной ковшик для всех, кого в эти студёные дни одолела бы жажда.

Каждый весин умеет плести из берёсты плотные котелки, которые можно вешать над костром и варить в них грибы. И ложки не хуже деревянных. У Яруна заблестели глаза: он скоро найдёт с кем поболтать. А мне показалось, что в воздухе запахло весной. День стоял солнечный, на тихих полянах было почти тепло, и певчий говорок родничка поистине походил на щебет пичуги, принёсший вести о лете, как раз вчера собравшемся в путь, наземь из тёплого ирия...

Немного подалее мы увидели след от саней, запряжённых крупным сильным лосем. След был свежий и вёл как раз туда, куда двигались мы. Мы струсили бежать прямо по следу и пошли краем леса, хоронясь за деревьями. Так-то верней.

На залитом солнцем склоне холма стояла девушка в пушистой шубке из чёрной лисы, такой же шапочке и узорных сапожках... Стояла себе, запрокинув головку, засунув руки в рукава и зажмурившись. На тёмных шерстинках лисьего меха, на русых прядях, выбившихся из-под шапки, лежало густое снежное серебро. Верно, редко случалось ей по полдня угонять прыскучего зверя. И у меня, и у Яруна вокруг лица был мех росомахи, не индевеющий на бегу.

– Ой, хороша!.. – выдохнул в восторге мой побратим. Что ж, может, это и вправду была добрая встреча. Девушка выглядела совсем безобидной, а мы уже устали бояться. Ярун оттолкнулся копьём и решительно заскользил, пересекая ложок, разгоняясь по белой сверкающей целине. Мне только и оставалось съехать за ним. Познакомимся, может, узнаем что.

Посвист лыж заставил её обернуться. Глаза были серые, подсвеченные весёлой солнечной голубизной. Действительно, красивая девка, вот только была её

красота неуловимо чужой, не такой, к какой мы привыкли.

Увидев нас, она не испугалась, не вскрикнула, не рванулась бежать. Смахнула иней с ресниц и улыбнулась. Я вряд ли стала бы так улыбаться, наскочив в лесу на двоих незнакомцев, рослых и с копьями. И подумалось про певчую птаху, выращенную в очень доброй руке, – живёт себе и ведать не ведаёт, что кто-то может обидеть. На ногах у неё были лыжи, добротные с виду, но легковатые, не для лесов.

– Здравствуй, славница! – поклонился Ярун.

– И вы здравствуйте, добрые молодцы, – прозвучало в ответ. Мы с Яруном переглянулись и дружно захохотали. Точили рогатину на медведя, а прыгнула – белочка. Говорила же она по-словенски совсем как воевода. Тоже понятно и без запинки и с тем же чужим отзвуком, исподволь настораживающим.

– То не молодец, – сказал Ярун и отряхнул снег с моего кузовка. – То посестра мне, Зимой Желановной величают.

Я уже сказывала, человеку не следует часто упоминать своё имя. Уж во всяком случае не говорить незнакомцу – я, мол, такой-то. Не ровён час, наскочишь на оборотня, отдашь себя нечисти, вынюхивающей поживу. Всегда лучше, если о тебе скажет другой и притом постарается, чтобы оборотень не понял, истинное имя названо или кличка, безобидное прозвище-оберег.

– А я его Яруном зову, сыном Линду из рода Чирка, славным охотником, – молвила я. – Мы к Мстивою Ломаному идём, в Нета-дун. Ты, славница, не оттуда ли будешь?

– Как не оттуда, – кивнула девушка. – У меня братья там, они меня Велётой зовут.

Бегать на лыжах Велета совсем не умела. Должно, у них за морем лыжный ход был не в почёте. Её очень смущало наше проворство, и оттого она только более спотыкалась. Сперва меня смех разбирал при виде её деревянной спины и коленок, не гнувшихся под дорогими мехами. Но постепенно другие, тревожные

мысли совсем обошли меня, и даже солнечный день будто померк, омрачённый заботой.

Пока Нета-дун и с ним мой новый нарок были где-то вдали, за непроходимыми лесами и несчитанными реками, – казалось дура, дай лишь добраться, дойти, и всё решится само. Ну велят раз-другой бросить стрелу. Ну испытают на кулачках. Ещё чего? В лодье грести, они все там гребцы... То не служба, полслужбы, забава после трудов, её ли я испугаюсь! Стану носить шлем и щит с соколиным знаменем посередине. Домой покажусь на парусном корабле, подарки всем привезу и столько рассказов, что сам дядька заслушается и позавидует...

...а дошло до дела, и вот уже холодная рука стискивала живот. Темно было передо мною. Вовсе темно.

Потом Велета оглянулась и прибавила шагу, и я сглотнула, крепко сжимая копьё: путь наш был почти кончен.

Берег моря здесь обрывался высоченным голым откосом. Мы покинули лес, и непомерная ширь ослепила нас неживым серебряным блеском. У берега расположилось селение: видны были репища, укрытые снегом, текли в морозное небо розовые дымы... А над обрывом, объятая холодным солнечным пламенем, стояла знаменитая крепость. Совсем такая, как говорили.

Варяги рассказывали, что за славный тын окружал их городок: островерхий, сработанный из могучих крекноватых стволов. Он был снабжён даже кровлей – деревянной, двускатной – и не боялся гнилых осенних дождей, а защитники крепости могли стрелять во врага, не показываясь сами... А у ворот, на столбах, блестели насаженные черепа. Знаки побед, грозная и страшная слава...

К открытым воротам медленно шли парень и девушка, длинные тени вились за ними по снегу. Девушка несла коромысло, парень что-то говорил ей, весело размахивая руками. Я смотрела, пока слёзы не потекли из глаз от яркого света. Где-то там, в крепких стенах, были они все. И Славомир, и Нежата, и сам вождь. Ой, щур, спаси меня, щур!.. Дедушка любимый, не выдай!

Я задыхалась от волнения и слышала, как покашливал рядом Ярун. Мы задами миновали деревню, оставив её по левую руку, и нагнали девушку с парнем.

– Якко!.. – издали окликнула его раскрасневшаяся Велета. – Якко, эй!

Он обернулся, и я узнала Славомира.

– Быстренько ты, – по-словенски сказал он Велете, стараясь больше для нас. – Да с добычей!..

Мы поздоровались. Ярун принялся неуклюже объяснять, зачем мы пришли. По моему, он был очень доволен, что нарвался не на вождя.

Молодой варяг слушал вполуха, щуря смеющиеся глаза и поглядывая на меня, и я боялась всё больше. Наверняка он давно забыл обещание, в шутку брошенное когда-то, и ему не терпелось узнать, какая нелёгкая принесла меня в Нета-дун. Но он был здесь хозяин, а вежливые хозяева приступают с расспросами к гостю не прежде, чем гость оттаёт с мороза, оживёт и сытно поест.

Его спутнице скоро наскучило ждать; она недовольно дёрнула плечом под вышитой свитой и пошла дальше одна. Славомир и не заметил.

– А где Бренн? – спросила Велета. Бренн!.. Меня как толкнули. За ворот хлынули муравьи. Я слышала уже это имя... И мне было страшно, когда я его слышала прошлый раз. Я это помнила точно.

Славомир ответил беспечно:

– У Бренна Марах опять застоялся. Да вон он, на льду... Сейчас здесь будет.

Бренн, лез ва, наконец припомнила я. Голос Славомира помог. А я-то гадала, как на самом деле звали вождя. Ой, щур, спаси меня, щур!..

Я вгляделась, заслоня глаза рукавицей. У берега были сделаны лунки; согнувшись, сидели над ними терпеливые рыболовы – мальчишки, удившие рыбу на ужин. Я увидела всадника, подъехавшего к лункам. Мальчишки тотчас окружили его, наперебой принялись хвалиться уловом, гладить коня. Всадник не

гнал их. Я робко понадеялась, вдруг к добру?

Потом он тронул коня и рысью пустил его к берегу. Я напрягла зрение... это в самом деле ехал Мстивой, и спасения не было. Ни спасения, ни отсрочки.

Он заметил нас, ждавших его, шлёпнул ладонью по сытому крупу, и жеребец взнял наверх сяжисто и легко, точно и не сидел на нём человек в меховых сапогах и зимнем плаще. У копыт шерсть коня была почти чёрной, а выше светлела круглыми пятнами, блестящими, как старое серебро. Разумные добрые глаза оглядели нас и запомнили. Конь налетел, Мстивой соскочил наземь и перекинул поводья через луку седла. Жеребец зафыркал и прыгнул в сторону, как играющий хорь – спинка дугой. Подбежал к Велете, упёрся лбом и начал тереться. Велета наступила лыжей на лыжу и обняла баловника за шею:

– Марах, бедненький! Совсем тебя Бренн загонял...

...Но всё это я замечала каким-то краем сознания, ибо рука уже комкала шапку, и спина сама гнулась перед вождём.

– Здрав будь, воевода... – выговорили мы с Яруном тряскими голосами. Меж тем из ворот друг за другом выглядывали любопытные воины; косища моя разостлалась поверх кузовка, и кто-то раскрыл рот в изумлении:

– Девка!

– Ну вот!.. – захохотал Славомир. – Кому сказывали – придёт?

Тут посыпались шуточки из тех, какими всегда полон рот почти у каждого парня. Сам вождь молчал, не оказывая ни радости, ни гнева, но мне что-то подсказывало – он был бы рад пришибить веселившихся о брёвна забрала. Да, кажется, и меня заодно.

Вот повернулся к Яруну, и воины мгновенно затихли.

– С чем пожаловал, удалец?

– В дружину... в отроки... тебе хочу послужить, – вконец оробев, сипло выдавил мой отчаянный побратим. Он поверить не смел, что мечта была готова исполниться, боялся спугнуть легкокрылую из самой ладони... но я-то видела, как потеплели глаза вождя.

– Дашь ли, – спросил он, – копьё парню носить, Славомир?

Ярун обернулся, с отчаянием и надеждой закусывая губу. И мы услышали:

– Как не дать! Да с топором наконец выучу обращаться!..

Вокруг опять засмеялись, а Ярун даже шагнул к Славомиру в благодарном нетерпении следовать за ним, нося обещанное копьё... Кажется, наступал мой черёд.

2

Шея чесалась оглянуться и загадать в наставники кого подобрае. Но в это время Мстивой тяжело посмотрел на меня и спросил:

– А ты, девка глупая, здесь что потеряла?

Как будто крепким снежком пустили в лицо! Вот и рухнуло, и оказалось вотще. От одного берега я сама оттолкнулась, от другого жестоко отталкивали. В ноги броситься – кашу хоть оставьте варить? Я угрюмо ответила:

– Я тебя первой не лаяла. И ты меня не бесчести!

– Хорошо сказано, – вполголоса похвалил Славомир. Громко при вожде хвалить не посмел. Мстивой как-то устало посмотрел на него, потом на меня и приговорил, кивнув в сторону изб:

– Переночуешь – и ступай, откуда пришла.

Наверное, я шатнулась. Ярун подпёр сильным плечом:

– Она из рода извергнулась. А я с ней оберегами поменялся, погонишь прочь, гони и меня.

Вождь ответил без всякого выражения:

– И погоню.

Вот сейчас обратится спиной и уйдёт. И что же тогда?

Но отчаяние сгорело в бешеной ярости вроде той, что когда-то впервые меня разбудила. Я сплеча швырнула шапку на снег и выпрямилась, стряхивая кузов.

– погоди, воевода, – сказала я громко. И переговаривавшиеся кмети почему-то снова умолкли. – Яруну ты летось велел силу пытаться. Невелика твоя правда, если мне в этом откажешь!

Мне потом говорили – глаза у меня были дикие и голос звенел. Может быть. Сама я видела только, что красное яблочко всё-таки покатило мне в руки: воины одобрительно зашумели и вождь вроде поколебался. Не мог же он, в самом деле, совсем ни с кем не считаться.

– Или боишься? – добавила я наудачу, не зная, чем ещё его зацепить.

– Бояться тебя, – усмехнулся варяг. И покосился через плечо на мохнатые от инея брёвна: – Ну, пробуй.

Я была почти готова к тому, чтобы он снова указал на Славомира, но он ничего не добавил, и я поняла: он ждал меня сам. Тогда я не глядя вытащила топор и стала подкрадываться к нему на лыжах, пригибаясь и понемногу отводя руку назад... Воины молча смотрели на нас, уважая таинство поединка.

Я бросила топор шагов с десяти. Бросила снизу вверх, почти без замаха, одним движением кисти – дедушкина наука. Отточенное лезвие вспыхнуло, с тонким звоном пронзая морозный светящийся воздух. Вождь почти не увидел броска, потому что я позаботилась зайти против солнца. Но слишком опытен был этот

воин, не по моим зубам. Он успел отшатнуться, поворачиваясь на пятках и вскидывая правую руку. Топор скользнул по его груди и гулко ударил в мёрзлую стену, пригвоздив метнувшийся плащ. Прозрачной пеленой отплыла прочь невесомая снежная пыль...

Кмети выдохнули все разом. Или мне так показалось. Наверное, зима была скучной, забава перепадала нечасто.

- Бери девку, Бренн!.. - первым закричал Славомир. - Не пожалеешь, бери!

Не отвечая, вождь выдернул топор из бревна, бросил его мне под ноги и растянул безнадежно испорченный плащ, любуясь дырой. И вдруг улыбнулся. Умел, оказывается, улыбаться.

- Девка глупая... - сказал он почти весело. - Вам, девкам, что-нибудь разреши...

- Сам виноват!.. - крикнула я, и голос сорвался. Я нагнулась за топором, но левая лыжа поехала, и я неуклюже, больно села на гладкий утоптаный снег. И тем было исчерпано моё небогатое мужество: я горько расплакалась. Я сжала зубами рукавицу вместе с рукой - не помогло. Умом я понимала, что воеводе стало как будто нечего возражать, что теперь соколиное знамя и впрямь, глядишь, осенит мой тул и пряжку ремня... но унять себя не могла и знай размазывала слёзы, беспомощно ожидая, чтобы жестокий Мстивой отстегал ранищими словами... Он ничего мне не сказал.

- А где она спать будет? - радовались весёлые кмети.

- Если в дружинной избе, чур, рядом со мной!

- И в баню с нами?

- А за кем щит да копье станет носить? Кто её усыновит?

- Удочерит, бестолковый...

Ни дать ни взять прилюдно стаскивали одежду. И сил не было постоять за себя во второй раз. Ярун сопел рядом, хотел ответить обидчикам и не решался.

– А ну-ка, где эта девонька?.. – послышался вдруг густой голос. На мой затылок легла большая рука. – Вы-то через одного мне пасынки, а внучки ещё не бывало... – И уже мне: – Пойдём, дитятко. Хватит слушать их, болтунов.

Я вскинула голову. Надо мной стоял могучий старик в длинной шубе и шапке. Когда смотришь на человека, особенно незнакомого, всегда первым делом ищешь глаза. Так вот, вместо глаз у него были две глубокие ямы. Кмети, однако, слушали старика с уважением. Даже вождь.

Славомир легонько толкнул меня коленом в плечо:

– Земно кланяйся, девка. Хаген плохому не выучит.

Мне некогда было раздумывать об именах, что они все тут носили. Бренн, Велета, теперь ещё Хаген. Я взяла руку деда, прижалась щекой... Ярун отряхнул и нахлобучил на меня шапку.

– А жить со мной можно, – вдруг сказала Велета, о которой, честно сказать, я почти позабыла. И добавила, кивнув на Мстивоя: – Брат разрешил.

Брат!.. У меня опять запрыгали губы: да поняла ли, беспечная, что я кидала топор совсем не ради игры?.. Отколь же было мне знать – Велета посечённый братнин щит под голову клала, кукол прятала в его старом туле... И ведала куда получше меня, легко ли было обидеть его один на один.

Тогда я не узрела толком ни крепости, ни деревни: с испуга да от волнения много ли разглядишь! Но поведать надобно ныне, а то будет некогда, да и не всякий поймёт потом, про что говорю.

За воротами обнаружился широкий, утоптаный двор и немалый дом, словно спряженный из многих срубов поменьше, и каждый малый сруб далеко превосходил не то что нашу избу – даже и дядькину. Таких домов не я одна, никто у нас не видал.

Была здесь долгая храмина с рядом светлых окон, разделённых затейливыми резными столбами, – честная гридница. Там они сходились на пир, на беседу и на совет: седые бояре, отчаянные кмети, иначе рекомые гриднями, юные отроки

и сам воевода. Плечом к плечу с гридницей высился тёплый сруб под толстой заснеженной крышей – дружинная изба. Здесь они жили, и ворчливые старцы скорбели о временах, когда сквозь такие дома проходила вся молодость племени, а не та малая часть, что решалась совсем подарить себя воинской службе. Былые мужские дома ставились в потаённой крепи лесов; Нета-дун далеко глядел в море и был бесстрашен и знаменит...

Поглядишь и задумаешься, крепость выросла при деревне или наоборот. Уже ныне текла сюда семья за семьёй: корел-погорелец, Словении, весин с брюхатой женой и малыми детками – поближе к варяжскому соколу, подалее от разбойного ворона, от полосатых северных парусов... Ещё минует времечко – нынешние безусые парни поведут пригожих девчонок вокруг священных раки. А там обоймут выселки новым забралом – вот и встал на крутом берегу новорожденный град, которому сам Нета-дун станет детинцем...

Говорю, ибо мне суждено было это увидеть. Но тогда ничто не вставало из небытия, не блазило под радужным солнцем, в густом морозном дыму.

Велета повела меня к дружинной избе, прямо во влазню. Яруну сказали обмести сапоги и дали войти внутрь. Изнутри дышало добрым теплом; после залитого солнцем двора я с трудом различила широкие лавки, полати над ними – верхние и нижние ложа, как здесь говорили, – да вроде оружие, мерцавшее на стенах. Я намерилась войти следом за побратимом, но Велета свернула в сторону, ко всходу, о который я немедленно стукнулась впотьмах головой. Позже я выучилась взбегать по крутым узким ступеням, не глядя под ноги и не спотыкаясь. Наверху были двери в две разные горницы.

– Вот здесь, – сказала Велета и потянула левую дверь. И добавила, похлопав по правой: – А тут братья живут, Якко и Бренн.

Вошла, разожгла одну от другой две лучины и вставила в железный светец.

Дома только у дядьки да у женившихся братьев были особые ложницы... Я для себя ни о чём подобном даже не помышляла. Сколько помнила, пищали рядом сестрёнки, сбрасывали одеяло и плакали, не умея укрыться. А то забывались во сне, и кому бежать с ними во двор? Теперь возросли, и я ночевала в клети от снега до снега. В клети никто не толкался, не норовил привязать косу к полену...

Здесь была почти такая же клеть, только стены не промерзали. И спала Велета не на полу, а на мягко устланной лавке. У меня громоздились кадки с припасами, стояли старые лыжи, копыя, остроги, висели свёрнутые сети и жилы для новых тетив. У Велеты стоял против лавки круглый сундук, наверное, с приданым. Сторожила сундук роскошная шкура зимнего волка, а поверх лежала забытая прялка. С прялкой Велета была навряд ли проворней, чем с лыжами.

Я повела глазами, ища, где бы в этой ухоженной горнице приткнуть свой замызганный кузовок... Велета с состраданием озирала мои меховые штаны, с которых уже опали на чистый пол капли оттаявшей влаги.

– Вечерять позовут... – молвила она нерешительно. – Ты погоди, я чернавушек кликну... платье тебе подберём какое ни есть...

Я не знаю, бросилась мне кровь к щекам или нет. Славная девочка определённо решила, что я учёна была только метать топоры, что меня, из лесу пришедшую, надо будет учить вдевать нитку в иголку... если не ложку в руке держать...

Я торопливо склонилась над кузовом, скрыв от Велеты, какой он был страшный внутри, черным-чёрный от ягод, грибов и просто от времени. Размотала холстину и бросила на сундук два вышитых платья. Те самые.

– О-ой... – задохнулась Велета. Подхватила светец, стала рассматривать. Я вдруг взволновалась и тоже как будто впервые, с ревнивым вниманием впилась глазами в собственную работу. Велета отряхивала и гладила то одну, то другую крашеную рубаху, расстилала пёстрые понёвы, расправляла пушистые кисточки поясков, а я только видела где кривоватый стежок, где разошедшийся узел, да и узор был невнятным, пустым, рождённым без выдумки и настоящей любви...

Велета подняла наконец голову:

– Это кто тебе такую радость спроворил?

Я отвернулась и буркнула, пряча досаду:

– Макошь ткала, пока я на полатях спала.

Велета потянула меня за рукав:

– Макошь есть ваша великая Богиня, я знаю. Она любит искусниц... Ты научишь меня так вышивать?

З

Кмети рассаживались на дубовых скамьях. Вождь оглядел стол и разломил хлеб, начиная вечерю. Всё как в роду, где меньшие смиренно ждут, пока возьмёт ложку отец. Чему удивляться! Род будет всегда. Всегда будут сыновья и отцы, хотя бы звали их кметями и воеводой. Или как-то ещё.

А позади верхнего стола была в стене узкая дверь, и её с обеих сторон стерегли непреклонные лики Богов. Были они чем-то схожи с самим воеводой, наверное, он их привёз из Варяжской земли, из прежнего дома. Мы знали, на его родине старшим Богом был Святovit, зорко глядевший на все четыре стороны света. Однако кмети-варяги чтили того же Перуна, что кмети-словене. И это его священная хранина сокрывалась за спиной воеводы, и воевода хранил её крепче всех вкупе грозных личин. А звалось святилище диковинным именем – неметон...

Мы, молодшая чадь, расторопно сновали за спинами, наполняли рога, подавали мясо и хлеб. Вот она, служба отроческая, желанная!.. Что же: браного полотна с наскоку не выткешь, учишься сперва на рогожке...

Ярун оказался поблизости от меня, потому что наши наставники сидели рядом с вождём.

В гриднице совсем не было женщин – я да Велета. Я всё поглядывала на неё и дивилась. Её-то, нежную, что увело с беззаботных девичьих посиделок, пировать усадило меж бородатых мужей?.. Вот обратилась к старому Хагену, передала мисочку со сметаной. Вот Славомир толкнул её в бок, хитрым глазом повёл на запыхавшегося Яруна – Велета прыснула в кулачок... Брат-ровесник, способный вовлечь несмышлёную в мальчишескую забаву, повести в лес за мёдом, не вспомнив про жестоко жалящих пчёл. Потом она повернулась к Мстивою. По летам он мог быть ей отцом. И смотрел, как отец на единственное дитя,

порождённое, выношенное, вскормленное, – и не догадай судьба потерять... Мне казалось, я вот-вот что-то пойму, но тут Хаген позвал:

– Сядь, дитяtko. Будет уж бегать, да и проголодалась поди.

Я решила: расслышал урчание в моём животе и пожалел несчастную девку. Яруна небось никто не жалел, взялся за гуж – тяни, пришёл служить в отроках, ну и служи. Ещё я испугалась, не загордился бы кто, не погнал из-за стола... откуда знать, может, Хаген испытывал, знаю ли обхождение, что ли старшинство... Я перелезла через скамью. Осторожно взяла хлеба, взяла жареной вепревины. Разрезала луковку. Начала есть.

– Ну вот!.. – неожиданно засмеялся старик. – Теперь ты совсем наша, теперь тебя даже Бренн не прогонит. Слышишь, Бренн?

Вождь посмотрел на нас мельком и ничего не сказал, а я с испугу закашляла, подавившись куском. Я поняла, что премудрый дед меня спас.

Даже дух, вылетевший из тела, ещё может вернуться, пока не вкусит пищи в Кромешной Стране: лишь тогда он по-настоящему принадлежит ей. Я села с воинами за стол и отведала хлеба. Теперь мне осмелятся показать путь, только если я совершу что-нибудь страшное, стыдное... запятнаю великим бесчестьем саму себя и дружину!

Кмети вокруг пили и ели невозмутимо. Экая важность девка, чтобы из-за неё всё забывать. Ели – ни дать ни взять как у нас после дня на корчёвке. Не поднимутся, пока стоит на столе пища и живот не отказывается принимать. Я задумалась: неужто они тоже вскакивали чуть свет доить мычащих коров, тянуть из речной глуби самоловы-мерёжи? Нет. Они правили только своё ремесло и ели, знать, впрок, припасали силу к летним походам...

Широкие окна гридницы были забраны на зиму красивыми резными досками. Очага в хороmine не теплили – сидели в шубах и шапках, грелись питьём. Славомуру был по душе красноватый густой мёд, который усердно подливал ему мой побратим. Он пригубил его не однажды и стал было шумен, но встретился глазами с вождём и сразу затих, даже нахмурился, отложил рог. Мстивоя слушались беспрекословно. Иногда даже прежде, чем он что-нибудь говорил.

Я решилась вновь посмотреть на Велету... Она давно кончила есть и вертела в руках зеленоватую стеклянную чашу. Всё равно в поход её не возьмут. Да она и не попросится.

Я метила в воины, но девичье неистребимо сидело внутри. Я сравнила себя с Велетой и ужаснулась обжорству. Поспешно догрызла кусок и не потянулась за новым.

- Плохо ешь, внученька, - сказал немедленно Хаген. - Что так?

Сколь вняты были ему малые приметы и шорохи, таящиеся от зрячих.

- Да так... - буркнула я смущённо. - Хватит уж, сыта...

- Налегай крепче, - посоветовал старец. И добавил с усмешкой: - У Бренна пищамя не утолстеешь.

Близко к вождю сидели степенные седоусые кмети: старградские вагиры, вышедшие из-за моря, и наши словене - поровну. Против меня оказался как раз один из таких, обветренный, муж, которому я сгодилась бы в дочки. Звали его Плотица. Он был у нас летом и теперь смотрел с незлым любопытством, теплившимся в маленьких зорких глазах. Он подмигнул мне, когда я отважилась поднять взгляд. Правая нога у Плотицы была деревянная от самой середины бедра. Когда он стоял, подбоченившись, во дворе или у корабельного борта, - увечья нельзя было заподозрить; неведомый мастер гораздо вытесал ногу и спрятал её в хороший сапог. Шагая, Плотица сильно хромал, когда же садился - негнущаяся нога смешно торчала вперёд. Поговаривали, однако, будто немногие одолевали его в поединке, с мечом или без меча. Он ходил кормщиком на корабле воеводы - вождь берёг верную лодью и мало кому позволял брать в руки правило. Плотице он верил без разговора.

- Эй, Плотица! - услышала я весёлый смех Славомира. - Отстёгивал бы ты, что ли, свою кочерыжку! Небось уже все коленки девке оббил...

Надо ли говорить, как я перетрусилась. Стол между нами был шире не надо, коленок моих, понятно, ничто не касалось, но я приросла к дубовой скамье и,

помню, только подумала – отчего вождь не прикрикнул на брата, как он один только и мог? Между тем вся длинная гридница повернулась к Плотице, предвкушая ответ. Хромой воин не торопясь дожеввал мясо... запил его, тщательно расправил усы... и наконец произнес:

– Твоя правда, живой ногой тут бы сподручней... А впрочем, болячка тебе, я, кроме ноги, ничего ещё не отстёгиваю. И меня с моей деревяшкой ещё не метало через борта, как тебя тогда по весне!

Обвалившийся хохот едва не смахнул меня со скамьи. Матёрые кмети ложились грудью на стол, заскорuzлыми ладонями тёрли глаза. В том числе Славомир, и было похоже, досталось ему поделом. Наверное, вправду забавно летел он в студёную воду, обманутый коварной волной...

Потом я не раз ещё слышала за этим столом, как могучие воины – размахнутся, дубовую дверь пробьют кулаком! – словно бы ни с того ни с сего принимались безудержно хвастаться, бросая чуть ли не вызов друг другу. Или, как нынче, пускали в ход поношения и подначки, которые у мелких людей тотчас выдернули бы ножи из ножен. Сравнение мужей – вот как звалась такая игра. Гордые и умевшие мстить без всякой пощады, они состязались в умении отражать шуткой ранящие слова... и всё только затем, чтобы дать друзьям позабавиться, похохотать от души!

Попробовал бы кто напомнить стрью-батюшке Ждану, как он лебезил перед грозным вождём!

Когда воины ушли спать в дружинную избу, а мы соскоблили мясо с костей и убрали столы, я отправилась знакомым путём в горницу, что так щедро решила делить со мной сестрёнка вождя. Осторожно открыла дверь – мало ли, спит! – и едва не ступила на девку-подлёточку, угнездившуюся при пороге.

Сестра воеводы ждала меня со светцом, и я изумлённо спросила:

– Это кто тут у тебя?

– Черनावушка, – отвечала она, изумившись не менее моего.

А девчоночка высунулась из-под овчины и вразумила меня, недогадливаю:

– А водички подать, яблочко сушёное поднести? А баснь рассказать, чтобы спалось?

Я промолчала. Всяк домостройничай, покуда живёшь у себя, а в чужой избе хозяина не учи. Велета через голову стянула рубашку, нырнула в нежный мех одеял и указала на постель рядом с собой:

– Ложись!

Она и тут делилась охотно и радостно. Всякая ли так щедра даже с роднёй? Всякая ли позовёт – не на один ночлег, на житьё! – незнакомую девку на голову выше себя?..

Я забралась под одеяло, и чернавка, привстав, задула светец.

Мне приснился зимний ночной лес. На лыжах, но почему-то с кузовом клюквы, я шла меж громадных заснеженных елей, едва озарённых дрожащей зелёной звездой... С моря надвигалась метель.

Я шла домой. Я знала это во сне, хотя лес был незнакомый. Скоро увижу старое поле, наш тын и Злую Берёзу, ищущую что-то обледенелой рукой.

Тут загорелись во тьме янтарные волчьи глаза...

– Молчанушка! – окликнула я мохнатого зверя. – Молчан!..

Протянула руки навстречу, ждала – ринется, увязая в рыхлом снегу, вскинет лапы на плечи, задумает опрокинуть. Но Молчан только поднял шерсть на загривке, оскалил страшную пасть и попятился, растворяясь в позёмке...

– Молчан! – крикнула я ещё раз. И пробудилась.

Во сне раскрывается око души и зрит невидимое наяву. Крепкое тело до срока прячет недуг, а заснёшь – и помстится, что заболел. Бывает, во сне громким кличем кличет беда, прихватившая кого-то в чужом далеке. Разгадаешь увиденное – быть может, узнаешь судьбу. Или задумаешься, в себя глянешь поглубже. Не ведаю, что и важней.

Чего ради я не взяла Молчана с собой?.. Хромому его пожалела? О себе пеклась, о себе! Обиды копила.

На дядьку, на мать, на злую Белёну. А как сама за счастьем пустилась, бросила друга, прочь оттолкнула, чтоб не мешал.

Такие сны шлют хранители-Боги. Иного хлестнуть по рукам, отшибить охоту к злодейству. Иного предупредить и спасти. А иного ещё – наказать, отплатить за давнее малодушие, быть может, не ведомое никому. И толку нет ни с оберегов, ни с жирного жертвенного гуся. Не молятся этому Богу, и у каждого он свой. Малый или великий, смотря по тому, каков сам человек.

4

Я почти обрадовалась, когда извне с хриплой яростью прокричал рог. Старый наставник меня опереживал накануне: по этому зову вся младшая чадь стремглав летит из постелей во двор, на утреннюю потеху. Я замышляла спросить, какая такая потеха, чего это ради велют бежать босиком, в исподней сорочке и тоненьких полотняных штанах... но убоялась насмешек и не спросила. Дождусь утра, сама посмотрю.

Вот – дождалась. Я прыгнула с лавки, стянула гашником новые, дважды стиранные порты. Не стыд показаться. Вздела рубашку, спеша, помогая ртом, завязала тесёмочки рукавов. Перешагнула проснувшуюся чернавку и кинулась вон. Успела ещё услышать, как Велета, невнятно пробормотав, повернулась к стене – и сладко зевнула...

Ступеньки восхода были холодными, а на последних встретили ногу щекотные иголки инея. Мелькали тени людей, внешняя дверь раскрывалась и снова

захлопывалась. Крепенький предрассветный мороз в самой влазне схватил меня за бока. Бедное тело, горячее и непонятливое спросонок, жалобно заскулило. А ну-ка! – сказала я мысленно и толкнула тяжёлую скрипучую дверь.

Посередине двора горел весёлый костёр, а вокруг, на блестящем гладком снегу, прыгали и по-птичьи взмахивали руками десятка два отроков, таких же, как я, босых и раздетых. Старшие воины держались опричь. В меховых кожухах нужды нету жаться к огню. Хагена я не заметила, но Славомир там был и подле Славомира сам вождь. Ожидали последних; я смутно порадовалась, что последней буду не я.

Морозец стоял не самый жестокий, но влагу дыхания схватывало у ноздрей. Я заскакала, вливаясь в общую пляску. Дверь дома бухала то и дело. Порою высывались разом две-три мальчишеские головы и канючили:

– Славомир, ну Славомир!

Я знала уже, кто это такие. Пасынки дружинные, детские, как их ещё называли. Сироты отдавших жизнь за вождя. Дети нынешних гридней, отосланные в Нетадун матерями. Эти будут воинами, их незачем испытывать, как нас, пришлых, сторонних: отроки бывают и из рабов, детские – никогда. Я, привыкшая возиться с сестрёнками, видела курносых насквозь. Заставь что-нибудь делать – не сделают, с подзатыльниками будут делать и плакать, но запрети – в узел свяжутся, а достигнут. Вот один, постарше и побойчее, ступил на снег разутой ногой...

– Я тебя!.. – топнул немедленно Славомир. Детского ветром внесло обратно в избу, а варяг оглядел двор – все ли на месте? – и увидел меня. Подошёл, хотя вполне мог позвать, и сказал дружелюбно:

– А ты почто? Иди досыпай.

Моё одеяло в горнице ещё небось не остыло. Я сказать не могу, в какую мёртвую бездну кануло сердце при этих добрых словах. Я молчала, глядя в глаза. Я по сей день не ведаю, что увидел на моём лице Славомир. Но увидел что-то и отошёл, проворчал как будто смущённо:

– Смотри...

Толкотня во дворе не заняла долгого времени. Меньше, чем теперешний мой рассказ. Вновь прокричал, позвал в темноту невидимый рог, и отроки гурьбой помчались в ворота. Я порадовалась: быстрый бег греет жарче костра, жарче мехов. Звёздное небо чуть мрело, суля нескорый восход. Я плоховато различала сперва, куда мы бежали. Боялась впотьмах оступиться, ногу поранить. Но зимняя темнота несхожа с осенней, в которой, как с выколотыми глазами, идёшь и не ведаешь, во что стукнешься лбом. Вот пошла книзу дорога, вот зачернели, отступая назад, береговые откосы, вознёсшие на гранитном хребте наш Нетадун... и внутренним чувством я угадала под собой лёд вместо земли. Море!

Мне было теперь совсем легко и тепло, даже босым ступням, и я не завидовала Велете, нежившейся дома. Ни разу не бегавший по морозу лучше не пробуй – сразу простынешь, – но если привык к холодам, жаре и дождю – то-то радуется бегущее тело, а с ним ликует душа!

Неподалёку от берега была устроена прорубь. Отроки прыгали по одному, вылезали и опрометью мчались по кругу, вопя и подбадривая друг друга. У воды, доглядая, стоял неведомо как обогнавший нас Славомир. Вот помог выкарабкаться узкоплечему пареньку, сам растёр полотенцем, достал из-за пазухи сухую рубашку... Все прочие, я поняла, сушили порты на себе.

Мы с Яруном переглянулись. Мы водили знакомство с зимней водой. Оба вваливались в полыньи и выплясывали у костров, у одежды, распяленной на кустах... Славомир запоздало шагнул удержать меня, вытянул руку. Ха! Я поспевала пригнуться на лыжах, на склоне горы, когда острые сучья нацеливались под рёбра. Я окунулась добротной, оставив сухим лишь затылок и косищу, намотанную на кулак. По поверхности плавали осколки битого льда. Я выскочила без подмоги и торопливо отжала сорочку, скрутив её на животе. Славомир только покачал головой. Вот вылез Ярун, и мы побежали. Подошёл воевода и бросил товарищу:

– Пусть её. Рожоного ума нет, не дашь и учёного.

Мы долго носились в синеющей полутьме. Если по совести, это был не мороз, четверть мороза. Ярун повернулся ко мне, хотел говорить, но тут кто-то из

отроков, плечистый наглыш, вытянул ногу, и мой побратим, непривычный к подвохам, едва не посунулся лбом в утопанный снег. Быть бы драке, не встань подле обидчика Славомир. Он молча взял почти обсохшего парня за вышитый ворот и, как щенка, вдругорядь швырнул в дымную воду.

– Охолонь! – сказал строго, когда отрок вынырнул и, ошалело моргая, схватился за край. – Тебе с ним одним щитом голову прикрывать!

Дом встретил нас теплом очагов, свежим хлебом и запахом горячего сбитня в глиняных чашках. Что за благодать вылить в горло питьё, духовитое, сладкое, натянуть вязаные носки и сесть у огня! Потом собрали столы, но не в гриднице, а в самой дружинной избе. И опять я служила доброму Хагену и между делом разглядывала людей и палату. Не то что вчера; вчера всё во мне было слишком натянуто, ни взора, ни памяти, одна трепетная струна. Вели поподробнее описать гридницу да сидевших, и не возьмусь. Ныне освоилась, поотошла от первого страха. Да и вода омыла, очистила, заново оживила...

Так вот он, мой новый род. Будущие побратимы. Словене, корелы, весь и, конечно, варяги, которых я научилась уже выделять не по отличию черт, не по выражению – по отблеску выражения, присутствующему людям издалека. Не могу лучше сказать. Кто хоть раз видал гостей из-за моря, поймёт сам.

Степенные мужи не спеша ели масляную овсянку, в очередь черпали из общих мис, а потом честно клали ложки чашечками вниз, чтобы недобрый дух не лизнул. А по стенам висело оружие и щиты, одни круглые, другие вытянутые, с острым нижним концом. Страшные отметины их украшали. И на каждом – грозная птица Рарог, сокол огня. Щиты так и притягивали глаз, но кто-то другой мстил мечтать, шептал на ухо: не быть тому никогда. Видно, крепко сидел во мне ужас перед вождём, ещё дома родившийся. Как он глянул на Славомира, когда тот при отплытии смехом пообещал взять меня на корабль!.. Допустит ли из младшей в старшую чадь? Ой вряд ли!..

Или, может, глухая тоска брала оттого, что и в этом доме не казался мне Тот, кого я узнаю с первого взгляда, Тот, кого я всегда жду? Стало быть, я ещё не изгрызла те медные короваи, не стоптала железные сапоги?..

Это жило во мне не так, как рассказываю. Не слитной мыслью – клочками, урывками дум, что летали, хлопая крыльями, как обезглавленные петухи по двору. Некогда было присесть, раскинуть умишком. Хаген выпрашивал о потехе на льду и о том, не страшилась ли я лезть в холодную прорубь. И знай приставлял к уху ладонь, просил рассказывать громче. Сперва я дивилась – чуткий слепец, он же слышал лучше меня. Потом поняла – и прихлынула поздняя благодарность. Не любопытство тешил старик и расспрашивал не для себя – для кметей, слушавших поневоле. Не все ходили к нам летом, не все меня знали. Один Славомир мог поведать кое о чём да Нежата... тут наконец я вспомнила про Нежату, не виденного ни накануне, ни днесь, и посмела спросить – жив ли молодец?

– На воропе Нежата, – ответил мне Хаген. – За Сувар-реку побежал, скоро придёт.

Наша память разборчива и добра. Если б жёны пристально помнили муку, в какой рожали дитя, перевелось бы племя людское. Так и я. Осмеяла Нежату, выгнала со двора, а ныне сама хотела увидеть и вспоминала хорошее – ласковый взгляд красивого парня, ласковые слова. И чувствовала затылком, что вождь слышал моё вопрошание и был опять недоволен. Верно, думал, моё воинское усердие – одна болтовня, а на уме ничего, кроме утех.

Когда же я села есть и взяла ложку, я вдруг ощутила прикосновение, совсем лёгкое, словно пуховым пёрышком по бедру. Не сразу и почувствовала сквозь одежду. Потом скосила глаза.

Подле меня стояла собака. Старая-престарая пятнистая сука с поседелой спиной и висячими тряпочными ушами. Наши лайки да волкодавы рождались пушистыми по-лесному, мороз их не морозил, дождь не мочил. У этой нежная шерсть стекала длинными прядями, лёгкими и волнистыми по концам. Карие глаза смотрели с кротким лукавством ветхого существа, которое почти отжило век, но всё ещё очень не прочь и полакомиться, и поиграть. Только не думай, я не выпрашиваю, внятно молвили эти глаза. Но если меня вдруг приласкают и угостят такой маленькой, совсем маленькой корочкой?..

Я отрезала от своего ломтя немножко вкусного мяса. Псица взяла бережно, не прикоснувшись к ладони. Я опустила руку ей на голову, погладила, почесала мягкие ушки. Мой Молчан не стерпел бы подобного ни от кого, кроме хозяйки. Гордый до лютости, он и еды никогда не брал у чужих...

Сука доверчиво положила голову мне на колени. Прикрыла глаза, нежась и отдыхая. Все мы когда-нибудь превращаемся в старых собак, которым уже неохота лаять в лесу, задорно летя по жаркому следу, неохота встречать незнакомца, явившегося у ворот... даже нюхаться с красавцем псом, приведённым в гости... Остынут, подёрнутся пеплом ярость и любопытство, широкий мир потускнеет и сузится: был бы клочок сена в углу, подальше от сквозняков, да сытое брюшко... да самое главное – любимый хозяин, который не выпнет никчёмную на дождь и мороз, не поскупится на ласку и на тепло...

Я покосилась на Хагена. Конечно, он был совсем не таков. Но здесь, в Нета-дуне, неплохо жилось и ему, и тихой Велете, и седой старой собаке. А может, ещё иным тварям, чей покой и достоинство было так же легко растоптать. Или оградить.

Смейтесь, если смешно!.. Но мне только сильнее захотелось остаться. А ведь я не искала широкой спины, чтобы сидеть за ней до могилы.

5

Теперь надобно помянуть про Нежату: взялась, так всё сказывай, любо, не любо. Нежата вернулся в яркий солнечный полдень и сам был, как тот полдень, радостен и румян. Шестеро молодцов неслись вслед размеренным шагом, и по этому шагу я тотчас признала словен. Весские парни бегали ино, а уж варяги – куда ни поедут, семи вёрст не доедут, отроду не было крепких морозов у них на море Варяжском, дожди вместо снега кропили в месяце грудне.

Нежата с собой вводил пятерых, вернулся с прибытком. Этот шестой летел позади, красуясь лыжной сноровкой, а у правого уха блестела серебряная крестовина меча. Да, подумала я. Вовсе не то, что я или побратим. Этот выглядел воином.

Мстивой, к моему удивлению, Нежату не похвалил.

– Отроков я беру сам, – молвил он хмуро.

Шестой мигмом опознал в нём вождя и встрял с ухмылкой, бесстрашно:

– А я не отрок.

У него был отчаянный взгляд не привыкшего ничем дорожить. Такому что свой живот, что чужой: не промедлит и не усомнится, если пошлют, как Яруна, со смертью на беззащитного. Это почуял в нём вождь, другое ли что? Откуда мне знать.

– Здесь передо мною все отроки, – ответил он невозмутимо. – Издалече идёшь, молодец?

– Из Нового Града, – сказал прибылой и перестал скалиться. – Думал хоть у тебя правды сыскать.

Из Нового Града!.. Двадцать лет прожила я в знакомом лесу, путешествие в Нета-дун казалось походом за край света, да я сказывала. Старград варяжский был мне вовсе где-то за звёздами, слишком далеко, чтобы уразуметь. Новый Град и стольная Ладога помещались чуть ближе, но тоже у кромки, под самым пологом тьмы. Возле белого камня, скрепившего древние заговоры... Мы переглянулись с Яруном. Мы были двумя синицами, выпугнутыми из куста. Варяги, залётные соколы, знали, как выглядит земля из-под облаков. Их смутить было труднее.

– Как величать-то? – спросил вождь. Он смотрел на Нежату: привёл, отвечай, – но Нежата как раз увидел меня и, если судить по лицу, почти испугался, и мне прыгнуло в душу что-то холодное, а новгородец немного повременил и откликнулся с вызовом:

– Блудом люди рекут.

Блуд – Ходящий Опричь! Хорошее назвище. Другое уже навряд ли пристанет.

– А князя что бросил, Блуд? – продолжал допрос воевода. Это он говорил о храбром Вадиме, который вышел из Ладоги и выстроил Новый Град, поссорясь с варягами, и о том слышали даже мы в нашей чащобе.

Дерзкий Блуд показал разом сорок зубов:

– Вадиму в горохе только стоять. И людям его с ним.

Хаген, уже привыкший держать меня за плечо, покачал седой головой:

– Беда, коли язык проворней ума.

Он опять видел недоступное зрячим. Расспросить тотчас я не успела. А после – забыла.

– Князя лаешь, болячка тебе! – проворчал хромоногий Плотица. Юные воины перед ним трепетали, но тут коса напала на кремень. Блуд выхватил оружие с такой быстротой, что лезвие очертило в воздухе золотой полукруг.

– Ты меня не учи. Я тебя под стрелами не видал.

Бесстрашия, наглости и насмешки в нём было поровну. Причём на десятерых. Плотица потемнел, косолапо шагнул навстречу. Зоркий Блуд опустил меч.

– Две с одной не дерутся, слава не та.

– Достанет одной пнуть тебя за ворота, – пообещал воин. – Думай, щеня, где славы искать!

Вождь его удержал. Вожди не бывают гневливыми, скорыми на расправу. Гнев вождей превращается в чёрные тучи, разящие невидимым громом. Раньше это могло случиться с гневом каждого человека, и люди были ласковее друг к другу. Ныне благая вера ослабла, но не про вождей. Кмети не помнили, чтобы Мстивой Ломаный кричал или бранился. Он и теперь продолжал по-прежнему ровно:

– Чем же светлый князь перед тобой оплошал?

Блуд ответил немедленно:

– А хоть тем, что датчан прежде нас потчевать стал.

Почему-то эти слова прозвучали как заклинание.

Кмети сдержанно загудели, вождь сжал зубы, как в судороге, потом бросил, более не раздумывая:

– Отроком будешь.

– У Вадима я повыше сидел, – сказал Блуд уже ему в спину. Воевода как не услышал. Нравится – оставайся, не нравится – уходи, а спорить без толку. Какое-то время Блуд стоял неподвижно. Потом с видимым усилием обуздал бесновавшуюся гордость, убрал меч и стал снимать лыжи. Припал на колени и начал казаться крепко избитым, и тут я заметила, что отчаянный малый на самом-то деле был бледен и тощ, тёмные усы выделялись, словно приклеенные, нарядный полушубок глядел чужим, слишком просторным, и даже лыжный бег по морозу не раскрасил молодца, только зажёг на скулах багровые пятна. Мы с Яруном дошли сюда крепкими и краснощёкими. А у него глаза глядели будто из темноты, и тлела в глазах волчья готовность лязгать зубами и огрызаться, пока не вшибут в глотку копья...

Возле двери вождь взял Нежату за плечо, и мой слух, отточенный на охоте, донёс сказанное в треть голоса, но с клокочущей яростью:

– Ты, беспутный, девку привабил?

Румяный Нежата дернулся из его кованых пальцев:

– Да ну её!.. Чего ещё наплела?

Вот оно – белым личиком об морской лёд. Я совсем не ждала радостной встречи, не думала снова сумерничать с ним на крыльце, позовёт – не пошла бы... Так, но я задыхнулась от обиды и предательства, хотя какое предательство, если ни в чём друг другу не обещались?..

А потом схлынула первая горечь, и я поразмыслила и решила: всё к лучшему. Знать, хранило меня, глупую, дедушкино громовое колесо. Не был Нежата Тем, кого я всегда жду. А иным не для чего меня обнимать. Смейтесь, если смешно. Сестрица Белёна уж точно животик бы надорвала. Она там небось замуж вылетела – дверь скрипнуть вслед не успела. Белёне жилось на свете повеселей моего. А впрочем, не знаю.

Но воевода!.. Решил, что Нежата сманил меня в Нета-дун, и съест готов был Нежату! Насмешек боялся? Хорош вождь с дружиной, в которой девки хоробрствуют?.. Я так и этак вертела подслушанный разговор, и за ворот сыпались муравьи. Сколь веселей было бы, стой во главе дружины хоть Славомир. У Славомира солнце было в глазах. Светел весь, как речная струя над чистым песком. Брат вождю, а сколь непохож. На того солнышко совсем не светило. Омуты были в нём, тёмные омуты. И студенты, плещущие со дна.

Едва ли не в тот самый вечер я поднялась в горницу спать и в дверях занесла ногу повыше – перешагнуть девку. И не увидела знакомой овчины.

– А чернавушка где? – зевая и почесывая шею, спросила я хозяйку. Велета подняла глаза со странным смущением:

– Её... Бренн сказал, я теперь... теперь мы...

Беспомощно смолкла и процвела такой отчаянной краской, как будто не я – грозный брат вошёл и застиг её за поцелуями с каким-нибудь кметем. Эта краска лучше речей втолковала мне приговор воеводы. На что ей чернавка, отроковицу заставит сказки сказывать на ночь... яблочки сушёные подносить...

– Мне как – у порога ложиться? – спросила я сипло. – Или ино где?..

А тут ещё попался на глаза плотно крытый горшочек, казавший краешек из-под лавки, – чернавкина первая утренная забота. Велета перехватила мой взгляд. Всплеснула руками, вскочила... бросилась ко мне, отшатнулась... залилась слезами и накрепко обхватила за шею, так что мне стало смешно сквозь обиду и, нечего делать, её же пришлось утешать. Улеглись мы, конечно, бок о бок. И во

сне я в который раз гладила пышное одеяло, помстившееся родным загравком Молчана. И кто-то другой тотчас будил меня, и я убирала руку с плеча крепко спавшей Велеты и лежала с открытыми глазами, глядя во тьму.

Так поселились мы с побратимом в воинском доме, у варяга Мстивоя Ломаного в дружине. Жить начали, а вот добра нажить повезёт ли? Там поглядим.

Я уже говорила: для новой жизни надо снова родиться, а перед тем умереть. Родится мужняя женщина – девушка умирает. Родится кметь – отроком меньше. Воины помоложе, только что опоясанные и хорошо помнившие собственный страх, всласть нас пугали. Ничего прямо не сказывали, намекали намёками, и у меня волосы шевелились: неужто вроят в землю по пояс и трижды тремя копьями уязвят, это сколько живы останутся? А потом заведут в лес, велют бежать что есть мочи да первому, кто попадётся, кровь отворить – хоть своей сестрице брюхатой?.. Где сыскать удальство такое, безжалостность?.. А как третий страх хуже первых двух, самому Перуну в очи глядеть в святой храмине, за дверью с личинами...

Да. Однако всё это нас ждало не завтра, и сказывать наперёд ни к чему, сказ не белка туда-сюда по древу скакать. И хватало нам, если честно, во всякий день и забот, и хлопот, и синяков со ссадинами. Скоро я поняла, отчего улыбался мой Хаген, говоря, мол, пищамя не утолстеешь. В прежней нашей жизни хватало трудов, суди сам, кто вскакивал ни свет ни заря и спешил на репище, на покос, к недоенным коровам в хлеву. А охота на лося, на яростного кабана! А сеть, что ведут из проруби в прорубь обледенелым норилом!.. Только прежние тяготы против новых были уже и легки, и привычны, и одолимы чуть ли не с песнями. Так рука, давно вроде упрятанная в мозоли, встречает вдруг дело, от коего снова вспухают нежные волдыри... Яруну приходилось хуже, чем мне. Меня всё-таки боронила моя девичья особость, и радоваться ей или клясть, решить я не могла.

Дома особость эта нередко мне досаждала. Весело ли тянуть равную ношу, притом хорошо зная – у глуздыря-сорванца испросят совета скорей, чем у меня. Мужу будущему с детства почёт, мне же, девке, ума словно бы не положено, за меня и подумают, и рассудят, и судьбу решат, не спросив... и кто же станет решать – боявшиеся схватиться со мной! Загадок моих не умевшие раскусить!..

Я надеялась: здесь судили не по одежкам, не по тому, корел или весин, усатый или безусый и даже – росла честная борода по щекам или долгая коса на затылке. Я пришла в Нета-дун, возмечтав обмануть свою Долю, откинуть пути измучившие... И кой-чего вроде даже добилась. Отроки, поначалу шалившие, пытавшиеся играть, скоро поняли, что драться надо на равных. И даже старшие кмети лишь ухмылялись, помалкивая, когда я с разбегу метала себя в холодную воду или катилась по снегу, сцепившись с кем-нибудь из ребят... Я была с ними, была как они, а что вождь никогда меня не похвалит... не гонит, и ладно, спасибо хоть и на том.

Но вот что дивно. При всём том я здесь чувствовала себя девкой много больше, чем дома. И совсем иначе, чем дома. Я не знаю, в ком дело, во мне самой или в мужах подле меня. Не могу объяснить, не могу лучше сказать.

6

Когда учили бороться, Ярун ходил синий от синяков. Славомир волен был ринуть об стену, прижать локтем хребет: постигай, непонятливый, воинскую премудрость, пока учат добром, в бою за науку иную цену возьмут... Мой Хаген тоже был не из слабеньких. Выбирал потолще сугроб и кидал меня то за ногу, то через голову. И всё втолковывал: хороша сила, когда при ней ум, хороша поворотливость, да со сноровкою. Я долго глотала слёзы и снег, потом однажды сама метнула наставника и страшно перепугалась, бросилась поднимать. Хаген встал очень довольный:

– Так, дитяtko, и не бойся, не развалюсь.

Он же выучил змеёй ползти вон из рук и больно бить пяткой в колено, буде кто без спросу обнимет. Ярун приходил вечером, морщился, тёр поясницу, хотел поплакаться и чаще всего стыдился, просил Хагена что-нибудь объяснить. Старик не отказывал. У него выходило понятней, чем даже у Славомира.

Как-то он возложил побратима на лавку кверху лицом:

– Подбирай ноги, – и тотчас вытянул поперёк голени хворостиной. Ярун ахнул от боли и неожиданности, и я поняла, почему Хаген начал не с меня.

– В бою будет больней, – сказал он Яруну. – И вряд ли предупредят.

Хворостина снова взвилась – и хлестнула твёрдое дерево: мой охотник перекувырнулся на лавке, а ноги сберёг. Старик согнал его на пол, отдал мне хворостину и велел ткнуть Яруна, как тычут копьём сбитого. Лишь остерёг:

– Глаза не попорть.

Ярун смотрел с пола беспомощно и сердито. Я осторожно подняла палку, метя в плечо... Ярун, натерпевшийся вполне достаточно мук, рванулся прочь и взвыл в голос, ударясь локтем о лавку. Старая сука, дремавшая в уголке, проснулась и подошла, виляя хвостом.

– Таков должен быть воин, – сказал мой наставник и безошибочно нагнулся к собаке. – Видишь вот, даже Арва согласна. Я слеп, а всегда знаю, что позади.

– Дед Хаген! – кривясь и терзая ушибленный локоть, заговорил вдруг Ярун. – Где ты жил, когда был молодым? Какого ты племени?

Позже он рассказал мне, что именно дёрнуло его за язык. Накануне он видел, как мылись в бане старшие кмети и вождь, как летели распаренные из двери в холодную прорубь: он подновлял прорубь пешнёй и засмотрелся на воинов, и тогда-то у многих, в том числе у Славомира с братом, обнаружили на жестоких телах замечательные узоры, вкраплённые, как понял Ярун, острой иглой. Иглу ту макали поочерёдно в разные краски, и по живой коже ползли волшебные змеи, летели хищные птицы. И каждый нёс соколиное знамя – кто на плече, кто на груди... Диво дивное – умереть, а разузнать. И кого, если не Хагена, про то расспросить?

Но тогда я об этом не ведала и взволновалась: а ну обидится старец! Не все рады прожитому, не всех тешит память, разворошённая праздным чужим любопытством...

Хаген вздохнул, улыбнулся, провёл рукой по усам. У меня отлегло от души – не рассердился.

– Я жил далеко... – Он не спеша опустился на лавку. Он не щупал рукой, он действительно знал, где что вокруг. – Я сакс. Так прозвали нас те, кому выпало убедиться в нашей отваге, это из-за боевых ножей, которыми владел мой народ. Некогда мы взяли себе лесной край между вендами и франками, южнее датчан...

Мы с побратимом переглянулись. Что ни день, касались края нашего слуха такие вот баснословные, чужедальние имена. Ярун сел перед Хагеном на полу, притянул к себе Арву, вдел пальцы в длинную шерсть. Ласковая псица лизнула его в щёку.

– Я слышал от стариков, – продолжал Хаген, – мы с франками от века то враждовали, то жили спокойно и не бранили детей, вздумавших породниться. Так велось, пока франки не взяли себе нового Бога.

Мы были одни в дружинной избе. Я совсем не хотела, чтобы вошли шумные кмети, стали мешать, но внезапно дверь отворилась – мерцавший очаг осветил Блуда. Вот принесло! Разве этот удержит колкое слово, разве посмотрит, кто перед ним, ровня-отрок или муж седоволосый... Я не глядя почувствовала досаду Яруна, и только Арва приветливо застучала хвостом. А Хаген продолжал, не обращая на Блуда внимания:

– Говорят, этот Бог некогда ходил по земле. Его называли Христос, что значит Вождь, и он умер за своих людей, как подобает вождю. Я слышал, ему вбивали гвозди в ладони, а он сказал только – не попадите по пальцам. Раньше бывало, такие снова рождались. Франки ждут, что Христос будет жить во второй раз.

Дерзкий Блуд подал голос:

– Мне рассказывали, у Христа была неплохая дружина, но дело не обошлось без предательства.

Хаген кивнул:

– Не обошлось. Иные помнят о клятвах, только пока длится удача. Ему бы одного-двоих, как Якко и Бренн, это люди. Так вот, у франков многие верят, что Вождь возвратится и отомстит...

– Знаменитая будет схватка, – сказал Блуд мечтательно. Наверное, он не врал, когда называл себя воином. Он и тут держался смелей, чем мы двое, вместе взятые. Он расстегнул меховой плащ, бросил на лавку и сел, кажется, позабыв, для чего шёл в дружинную избу.

– Люди думают, – продолжал Хаген, – всё дело в том, что Христос погиб совсем молодым. Он не успел обнять женщину и не оставил детей. Целомудрие достойно мужчины, но всегда скверно, когда прекращается род и не найти законных наследников.

Старик помолчал, нахмурившись невесть почему: или чей-то род грозил оборваться? Потом заговорил вновь:

– Христиане не терпят подле себя верующих иначе. Я не знаю, что скажет им Вождь, когда возвратится, но сегодня с ними не уживёшься.

– Почему? – спросил Блуд. – Коли я что-нибудь понял, этот Христос Правду чтит!

Хаген пожал плечами:

– Если хорош предводитель, совсем не обязательно, что хороши и все его люди... Франки подняли на нас великую рать. Меня ослепили в плену, и я целый год крутил жернова, но мои друзья меня не забыли, решив убежать. Я был молод тогда и думал жениться...

– Блуд!.. – влетел со двора нетерпеливый крик Славомира. Вздогнув, Блуд подхватил плащ, сдёрнул со стенки меч в ножнах и выбежал вон.

– Моя невеста была совсем девочкой, – сказал Хаген задумчиво. – Она не подошла ко мне, когда я её разыскал.

– Она тебя не любила, – слетело у меня с языка. Я испуганно закрыла рот ладонью, но Хаген только нагнулся и провёл рукой по моим волосам.

– Не суди её... Никто не знает заранее, какую ношу поднимет. Да и не худо я прожил, если подумать. Мальчишками мы ходили на вендов, и так вышло, что один вендский воин узнал меня, встретив на морском берегу. Он позвал меня жить к себе в дом. Это был славный Стойгнев, отец нашего Бренна.

Мы молчали, не смея дышать. Хаген прислушался к чему-то и засмеялся:

– Хватит бездельничать! Берите-ка по копьё и быстро во двор, а то Бренн решит, что я вправду состарился и годен только для болтовни!

Повесть Хагена смутила меня необыкновенно... Остаток дня я ходила как в полусне.

– Наш Мстивой действительно из хорошего рода, – вечером, за едой, шепнул мне Ярун. – Каков же его отец был со своими, если и врага не бросил в беде!

Помню, я недоуменно вскинула на побратима глаза и тотчас устыдилась, поняв, сколь по-разному впитали мы одни и те же слова. Ох, не годился мой бедный женский рассудок думать гордые думы! Вот хоть Ярун: из него будет толк, не случайно он так приглянулся вождю ещё летом, совсем неумехой. Он и теперь целый день размышлял о чём следовало. О славном Стойгневе, приютившем врага, и о могучем Вожде, которого звали Христос. А я, недалёкая?.. О девчонке, бросившей жениха. Я корила себя, но всё без толку. Наверное, у старого сакса лежали одинаковые шрамы на сердце и на лице. Теперь их можно было тихонько погладить. Он не лгал, он, конечно, давно простил девку, шарахнувшуюся от его слепого лица. Но что бы он ни говорил, я знала истину: она его не любила. Замуж хотела. За мужа. Как все. Не был Хаген для неё тем единственным, кого ради не жалко пойти босой ногой по огню, а уж поводырём сделаться – праздник желанный... Оттого и не подбежала к ослепшему, не захотела губить красы за калеккой. Что ей, умнице, в подобном супруге? Ни бус на белую шею, ни паволоки на грудь. И себя не покажешь подле такого...

А что басни не сложат, в том ли беда.

Ой, как ясно я видела Хагена, бредущего без дороги в осенней сырой темноте... берегом моря, под крик белых птиц, вьющихся над головой!..

...А поздно вечером, на лавке подле Велеты, ударило в сердце мало не насмерть: Тот, кого я всегда жду! А если скрутили, ранив в бою, и кто-то жестокий, глумясь, исколол гордые глаза кровавым ножом?!. Поднялось в потёмках лицо, искажённое мукой, любимое... ни разу не виданное... и глубоко внутри молча взвыл ужас. И затопила такая отчаянная, невыносимая нежность: только бы встретился! Век не оставлю, не погляжу на другого, только не пройди мимо неузнанным, не покинь, не устыдись себя оказать!.. Я ли не отыщу заветного слова, я ли не расскажу о цветущих лугах, о зыбучих зимних сугробах – и убежит посрамлённой чёрная тьма, которой хотели навек тебя окружить!..

...а что, если Тот, кого я должна угадать с первого взгляда, давным-давно прожил, не зная обо мне, разминувшись со мною на целых сто лет? Может, его когда-то Хагеном звали? А может, он ещё не родился? Или живёт себе поживает – но у другого края земли?

Сколь тропинок порознь бежит, как тут встретиться, как разглядеть – одного-то на весь белый свет...

7

Старейшина Третьяк прислал в крепость сына – звать на посиделки.

Кажется, я уже говорила, что жившие в Нета-дуне не водили жён и не знали иных семей и родства, кроме дружинного. Своим домом живя, трудновато отдать себя вождю без остатка, по первому зову сорваться в поход или, паче, на новое место. Не уйдёшь от хлебов со скотиной, от житной пашни и огорода. Не бросишь.

Однако женской любовью дружина была отнюдь не обижена. Ближним деревням жилось за её щитом вовсе не плохо, два минувших лета видоками. Конечно, прожорливых молодых мужчин надо было кормить, зато сеяли и пахали без страха, не вздумается ли кому отнять собранный урожай, перерезать скотину, назвать рабами самих. А ещё за хлеб-соль доставалась деревне не худшая доля ратной добычи: серая лесная земля вблизи крепости сохраняла пузатые горшки серебра. Мстивоя Ломаного берегли могучие Боги, на его воинах лежал священный отблеск удачи. Потому каждый род хлопотал прислать сюда

девушек, прислать именно с тем, чтобы они, возвратясь через малое время домой, внесли под родной кров часть этой удачи. А повезёт, так и сына родили от прославленного удальца... парни, благоговевшие перед дружиной, этих девчонок сватали наперебой. Да что говорить! Даже у нас нюхом учуяли милость Богов, пребывавшую с мореходами. Я уже сказывала, как набежали ретивые девки и ещё мне пеняли, что с ними не шла, глумились – Зимка-мёрзлая... Их-то в ту самую осень свели со дворов женихи, да не свели – умчали!

Со всех сторон собирались девушки и ребята, с прялками, с вышивкой, с орехами, с пирогами. Прибегали на лыжах через леса, катили на саночках, запряжённых послушными ручными лосями. И столько, что никакая изба, откупленная у хозяина на ночь, не могла вместить половины. Думал, думал Третьяк и о прошлом годе затеял большущую храмину нарочно для бесед-посиделок. Народу на помочи собралось без числа; дюжие молодцы спустя год ещё спорили, кто больше всех испил потом на пиру.

Славное место для дома избрал разумный старейшина и позаботился вселить доброго Домового: не поскупился на жертву, привёл гнедого коня и зарыл его голову под красным углом, попросил незлобивую душу пойти жить в строение. Так, наверное, и сбылось. На посиделках почти не дрались, толкнут друг друга плечами да и замирятся. Домовой их студил? Или кмети с жилистыми руками, способные хоть кого выкинуть через тын, сознавали свою грозную силу и берегли её, не тратили впусте, споря, у кого на коленях девке сидеть? Или всё оттого, что ходил на беседы сам Мстивой Ломаный, воевода? Садился опричь у стены, не спеша потягивал мёд и ленился даже плясать... Но гридни, матёрые удалью и летами, сивогривые старые волки, держали себя при нём мальчишками при отце. Одно слово, вождь.

Вести о посиделках всегда разносят заранее, чтобы хозяева успели добела выскоблить дом, а гости – перетряхнуть наряды и наготовить съестного. Нет человека, который бы не радел себя показать. Даже воевода впервые смягчился и разрешил нас, юнцов, ото всех дел, велел топить бани, штопать рубахи, чистить гнутые гривны и светлые пояса. Драгоценная справа была, конечно, не наша, наших наставников. Добытая в битвах, полученная в награду за доблестные дела... Безусые отроки любовались и вслух мечтали, как сами наденут такое же славное серебро. Бахвалились друг перед другом, а может, впрямь думали выдержать Посвящение, обрести славу в походах... Я

помалкивала. Мне и верилось, да что-то не очень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/mariya-semyonova/valkiriya-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)